Δ 781/97

ФРОНТОВАЯ БИБЛИОТЕКА КРАСНОФЛОТЦА

БОРИС ЛАВРЕНЕВ

ПОДВИГ

Сигнальный экземпляр

ВОЕНМОРИЗДАТ
1943

2014080352

Л 781/97

Смерть немецким оккупантам!

ФРОНТОВАЯ БИБЛИОТЕКА КРАСНОФЛОТЦА

БОРИС ЛАВРЕНЕВ

БФ95-31:КШ

ПОДВИГ

рассказы

ВОЕННО-МОРСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО НКВМФ СОЮЗА ССР

МОСКВА 1943

11581-43

Курилка военно-морского госпиталя была окрашена темноголубым риполином. Ее блестящая синева напоминала цвет волны в ясный летний день.

По вечерам курилка наполнялась временными обитателями старого красного здания петровских времен. Кто своим ходом, кто ковыляя на костылях, кто в кресле-самокатке — раненые и больные сходились в нее, как в клуб.

Из окна был виден двор, по которому все время суетливо проносились белые халаты сестер, сиделок и врачей. У прохода к воротам степенно расхаживал дневальный в бушлате.

Над темными липами стыло лимонное, прозрачно-холодное небо белых ночей, и в него ввинчивался рыжий дым химического завода. Ажурный скелет мостового крана Северной верфи висел над дымным горизонтом у взморья.

Мы сидели и смотрели туда, где за крышами домов и за палевой гладью залива лежали плоскими пятнами кронштадтские форты. Всем томительно хотелось скорее покинуть эти пропахшие лекарствами стены. Там, в Кронштадте, кипела напряженная боевая жизнь. Вспоминая эту жизнь и оставленных там товарищей, мы курили много и нервно. Курилка наполнялась плотными облаками дыма и как будто плыла в закатную даль.

Посасывая папиросы, посетители курилки рассказывали друг другу о том, что они видели в жизни, из которой их вывел осколок снаряда, пуля или болезнь. Этих рассказов было много, словно каждый торопился передать виденное, сберечь его общей памятью.

Все, что казалось мне интересным, я наскоро записывал карандашом на крышках папиросных коробок. И сейчас я возвращаю эти рассказы моим друзьям.

Москва 17 июля 1942 г.

Встреча

Перед самой войной командир наш капитан-лейтенант Солодушенко заметно переменился. Раньше был весельчак, живчик, радостной жизни человек. По службе или по дружбе всегда жил с шуточкой, с веселым подходцем, и улыбка у него была такая белозубая и заразительная, что сам рот до ушей растянешь и на целый день развеселишься.

И вдруг как срезало. Совсем другой человек появился. И походка переменилась. Бывало на мостик в три прыжка взлетал. А тут стал ходить сгорбясь и ноги волочит, как чахоточный. Губы в тонкую ниточку собраны и даже, когда говорит, и то не разлепит, будто слова продавливает меж зубов. Глаза потускнели,— словом, всякому заметно, что человек не тем курсом пошел.

Раньше в кают-компании у нас постоянно за столом смех бурлил и сам командир был веселью заводчик. Как отпустит словцо — все покатятся. А теперь слова не проронит. Уставится в тарелку и сидит, глаз не подымая, только вилкой скатерть скребет. Конечно и мы молчим. Раз командиру неохота разгова-

ривать, всем не по себе. Так и стали жить бесловесно, как крабы под камнями.

Никак не могли мы понять, что с нашим командиром стряслось? Моряк лучшего качества, у начальства на виду, эсминец — какого во сне пожелать можно, новенький, скороход. Приз переходящий за артиллерийские стрельбы третий год держим, зубами вцепились — не вырвешь. Отчего бы в уныние впасть?

А узнали мы причину от комиссара. Командир с комиссаром у нас очень дружили. И на правах дружбы забеспокоился комиссар, что капитан-лейтенант так расстроен. При таких обстоятельствах и службе вред может быть. Как-то зашел комиссар к командиру в каюту и повел разговор начистоту.

Оказывается, вышло все это с командиром от семейного неустройства. Надо сказать, что года за два до этого Солодушенко женился. Выходил себе жену всем на зависть. Высокая, щеки розовые, глаза синие, волосы пшеничным снопом вихрятся. И тоже веселая. А по специальности актриса. В театре юных зрителей работала и на хорошем положении считалась.

Я так думаю, что моряку вообще не след жениться на выдающихся экземплярах. Служба наша не домашняя — уйдешь в море, дельфин не догонит. Когда вернешься — неизвестно. А как только ты в море — вокруг дома начинают разные личности маневриро-

быть короткий рассказ. Молодой женщине все время одной дома сидеть, ясно, невесело. Хочется с живым человеком словом перекинуться. И начинается неустройство. Чаще всего и серьезного ничего не случается. Цветы, конфеты, разговоры, ну, ручку там поцелуют, а добрые языки вмиг трезвон разведут построже колоколов громкого боя. Вернется человек с моря, и сразу сердце у него обрадует.

Поэтому лучше нашему брату выбирать себе жену поскромнее и незаметнее. Лишь бы душа была ясная, а что до оперенья, то удобнее серенькое, вроде цесарки, чтоб в глаза не кидалось.

Вот и у нашего командира на такой почве разлад вышел. Пришел из плаванья, наслушался вранья в оба уха и сказал жене неосторожное слово. А у нее гордость разъярилась, обиделась. Слово за слово, Солодушенко и обмолвился, что если семейный корабль из строя вышел, то лучше сдать его порту и кончить кампанию. Хлопнул дверью и ушел в плаванье на месяц.

Вернулся и нашел дома вместо жены одну записочку: «Жизнь не вышла. Горько, но что же делать. Уезжаю, не ищи меня, прощай. Женя».

От такого оборота он и развинтился. Любил ее крепко и сам жалел, что этот разговор у них вышел. Бросился в театр. Там ответили, что актриса Платова с разрешения высшего

театрального начальства с работы уволилась по своему желанию и уехала в провинцию, а куда — не сказала. Кончилось счастье из-за ничего. Много таких глупостей бывает.

И как ни пытался капитан-лейтенант разыскать свою Жену, не мог следа обнаружить.

Рассказал нам все это комиссар, и очень мы жалели нашего командира. Но долго заниматься этой оказией не пришлось. Война все такие домашние дела срезала под корешок. С войной командир подобрался, взял себя в руки, но угрюмости не потерял. Ходит по мостику с крыла на крыло сумрачный и все куда-то за горизонт глядит.

В середине августа встретились мы с двумя немецкими эсминцами. Встреча была короткая, но крепко поперченная. Напоролись они на нас незадолго до рассвета, выскочив из тумана. Однако немца мы на девятой минуте без попросили обследовать, какой грунт на дне. Другой, хоть и задымил, но успел обратно нырнуть в туман. А нам один снаряд попал в мачту над мостиком. Громыхнуло над головой, брызнуло осколками по палубе. И сбило лейтенанта, двоих сигнальщиков и командира.

Сигнальщиков поцарапало чуть-чуть, мне левый локоть развороти́ло, а командира покорежило основательно. Разбило бедро, брюшину порвало, а один осколочек даже в башку во-

гнало. По приходе в базу отвезли меня и командира в госпиталь. Положили в одну палату. Пришли врачи, поглядели — мне новую повязку приказали наложить, а Солодушенко тут же свезли в операционную. Лежал он без сознания и весь белый, как мукой обсыпанный. Врач мне сказал, что командирское дело плохо. По правилам, говорит, конечно, операцию полагается сделать, но только вряд ли командир выживет. Однако все же с операции принесли его назад в палату, положили на койку. И лежал он неподвижный, чуть заметно было, что дышит еще. Глаза закрыты, нос острый стал, как свайка. Два дня пролежал — ни живой ни мертвый. Только пузырь со льдом все время сестры ему на животе меняли.

На третий день открыл глаза и с этой минуты стал поправляться. Профессор наш, главный врач, только плечами пожимал. Сам не верил в такую удачу медицины. Когда капитан-лейтенанта на стол клали в операционной, не верил профессор, что выживет человек с такой раной.

А в недалеком времени просто узнать нельзя было Солодушенко. Нос в прежний вид пришел, на лице окраска появилась. Но все же лежал командир молча и попрежнему куда-то очень далеко смотрел. И все край одеяла пальцами перебирал.

Мы старались, чтоб ему беспокойно не бы-

но. Кроме него, нас в палате пятеро было. Все ходячие. Так мы между собой шопотом разговаривали, а то и вовсе старались в курилку уйти и там сидеть. Все-таки в палате больше воздуха будет.

В конце недели приходит утром профессор на обход. Посмотрел нашего капитан-лейтенанта, прослушал, прощупал и в усы усмехнулся.

— Ну,— говорит,— позвольте мне, старику, вас сердечно поздравить, товарищ капитан-лейтенант. Разом и себя и вас поздравляю. Почти с того света вы вернулись и теперь жить, наверное, будете долго. Прямо говорю: вопреки всем ожиданиям выжили. Или счастье ваше такое, или очень уж здоровая и жизнедеятельная кровь у вашего донора оказалась. Должны вы ему сказать спасибо.

Тут Солодушенко впервые чуть улыбнулся, так, одним уголком, и отвечает:

— Рад бы, профессор, поблагодарить, да редь не знаю, кого.

— Это дело простое,— профессор поворачивается к старшей сестре и приказывает:— Пройдите ко мне в кабинет, откройте бювар, там сверху этикетка лежит, которую я от банки с кровью отклеил. Тащите сюда!

Через минуту сестра возвращается и подает профессору этикетку. Он ее протягивает капитан-лейтенанту.

— Вот вам,— говорит,— и имя вашего ангела-хранителя и адрес. Все тут.

Капитан-лейтенант берет двумя пальцами, подносит к глазам... И сразу дернулся, как от судороги, вытянулся и упал на подушку. И снова синевато-белый стал, будто опять его мукой осыпали. Лежит с виду мертвый.

Профессор увидел и закричал не своим голосом:

— Шприц с камфарой! Моментально!

Началась суматоха. Врачи койку окружили. А я вижу — этикетка эта самая, которую профессор капитан-лейтенанту дал, выпала у него из руки и лежит на полу у койки. Дай, думаю, подберу, а то затопчут.

Нагнулся и поднял без всякого подозрения, просто, чтоб не пропала. Но любопытства ради читаю, что там написано. И вижу:

«Группа крови II... Донор Платова Евгения Михайловна... Адрес...»

И еще не дочитал я, как меня жаром опахнуло... Платова... Евгения Михайловна... Да ведь это и есть та самая жена капитан-лейтенанта, его Женичка, которую он без конца искал и найти не мог.

Сижу я обалделый, на бумажку уставился не мигая, как сыч на солнце, и думаю: «Ну и история! Ну и происшествие... Ведь нарочно такого не придумаешь. Как в сказке».

А тем временем капитан-лейтенанту камфа-

ку вернулся, профессор руку его держит, пульс отсчитывает и сам с собой говорит:

— В чем дело? Понять не могу, почему такой внезапный прилив..

Тогда я показываю эту бумажку:

— Разрешите доложить, товарищ доктор.

И рассказываю все, что мне известно. Профессор, врачи, сестры, раненые, все слушают, рты раскрыв. Профессор, наконец, покачал головой и сказал задумчиво:

— Второе чудо случилось с этим человеком. Первое — что он вообще выжил, а второе — вот эта бумажка. Вот и не верь после этого чудесам.

Часа через полтора капитан-лейтенант совсем оправился. Лежал тихо и все улыбался. Так и заснул в эту ночь с улыбкой.

А спустя дней десять, только что мы с обеда в палату вернулись, как появляется на пороге высокая женщина в белом халате. Глаза синие, волосы пшеничным снопом. Быстро окинула глазами палату, нас всех, увидела капитан-лейтенанта, рванулась и, как ветер бесшумный, пронеслась к его койке. Упала на колени и голову ему на грудь. Видно, как дрожит вся. А он взял эту голову в ладони, притянул к себе и молчит. Только шумно так дышит.

Ну, понятно, тут [illegible]. Поднялись [illegible] с коек и потихоньку [illegible] в коридор.

Полосатая смерть

Мы только что заняли эту деревню. Бой был недолгий, но злобный. Немецкие автоматчики угнездились на чердаках, в подпольях изб, в подвалах. Неполный треск автоматов походил на пресный стук нескольких десятков клепальных молотков, чеканящих заклепки на верфи.

В этот треск, как удары больших молотов, врывались разрывы наших гранат, которыми мы забрасывали немецкие берлоги. И чем чаще грохали гранаты, тем слабее становился назойливый, отвратительно щекочущий нервы автоматный стрекот.

Но скоро он умолк совсем. Рыжий, кислотерпкий дым от гранат плавал между избами, выползая из окон, из отдушин погребов. С сухим шорохом и скрипом разгоралась тесовая крыша избы, подожженной брошенной гранатой.

Я и мой друг Вася Безенчук ползли рядом по огородной ботве. Из чердачного окопа показалось черное от копоти и крови, искаженное лицо. Немец, одичало выпучив глаза, старался протиснуться из пылающей мглы чердака, которая становилась для него могилой. Безенчук припал на колено и повел стволом. Немец, уже пролезший в оконце до бедер, сразу сломался пополам и поник вниз головой. Вытянутые руки его вздрогнули раз-другой и

замерли. Он висел перед нами безжизненной серой куклой, брошенной на ширму балагана, после того как она отыграла свою роль.

— Нехай успокоится,— хмуро проворчал Безенчук на мой вопросительный взгляд.— Нихто его не кликав по нашим горницам лазать.

— Живьем бы взяли,— решительно возразил я.

— На вищо? — крикнул Безенчук, таращив на меня круглые от злости глаза.— Щоб та гадюка ще наш хлиб ила? А вин тебе пожалкував бы?

Я промолчал. Возражать было нечего. Немец слишком поздно подумал о своей жизни. И полностью заработал кусочек свинца, раскаленного, как ненависть Безенчука.

Краснофлотцы, подтащив к избе лестницу, уже карабкались наверх с добытыми где-то топорами, чтобы растащить тес и сбить огонь.

В деревне стало совсем тихо. Пулеметы рокотали уже дальше к западу, поливая отходящих немцев. Из-за изб выскочил лейтенант Гаврилов. Юное лицо его опалилось румянцем боевого возбуждения. В руках он держал трофейный автомат. Он крикнул:

— Взвод ко мне!

Сбегаясь со всех сторон, мы окружили лейтенанта. Но собрался не весь третий взвод. Девятерых мы оставили на подступах к этой чортовой деревушке.

— Товарищи! — сказал лейтенант. — Первый и второй взводы продолжают бой за деревней и окапываются на случай контратаки. Наш взвод в боевом резерве. Приказано прочесать всю деревню из избы в избу и выяснить, не попрятались ли где-нибудь фрицы. Разбиться попарно! Просмотреть каждый дом и двор. По окончании получите новую задачу. Ясно?

— Ясно, товарищ лейтенант, — отвечали мы негромко и не очень дружно. В нас еще трепетала горячка боя, которая сорвала обычную согласованность ответа.

Мы вернулись к околице и начали прочес. Но живых немцев обнаружить не пришлось. Наши гранаты поработали хорошо. Заглянув в одну избу, откуда особенно упорно хлестали автоматы, я невольно зажмурился и попятился. Мирное жилище было все вывернуто наизнанку и раскрошено взрывом. На линялых голубых обоях с цветочками, повисших лохмотьями, всюду виднелись жирные красные брызги. Среди щеп разбитого соснового стола лежала нога в изорванной серой штанине. Из нее торчал острый розовый обломок кости.

Закончив прочес, мы вышли на противоположный край деревни. Лейтенант приказал нам подождать под прикрытием амбара, а сам отправился к командиру роты за приказаниями. Мы приставили наше оружие к поросшей мхом стене и расселись на траве, задымив па-

пиротками. Никому не хотелось говорить. Курили молча, ожесточенно и шумно затягиваясь.

Я прислонился спиной к закрытой двери амбара и, запрокинув голову, смотрел в синее осеннее небо, по которому ползли перистые облака, уходя на запад, к морю. Мне не хотелось ни о чем думать. Наступившая вдруг тишина приятно успокаивала тело, взбудораженное напряжением боя.

И вдруг я невольно ощутил толчок в спину. Вероятно, мое движение было таким нервным и порывистым, что вслед за мной поднялись все, торопливо хватая оружие, защелкали затворы. Я с бьющимся сердцем смотрел на дверь. Она вздрагивала от мелких толчков. Кто-то явно пытался отворить ее изнутри.

Отстранив меня, [illegible] решительно взялся за деревянную ручку и рванул дверь на себя. Десяток наших штыков поднялся для удара.

В черном прямоугольнике двери стояла женщина. Она смотрела на нас странно неподвижным взглядом светлых глаз. Была невелика, может быть, молода, но возраст ее сейчас трудно было определить. Ситцевая кофта в мелких розочках болталась лохмотьями на ее плотно сбитом корпусе деревенской молодайки. Большие загорелые руки были прижаты к груди и поддерживали полотняный сверток с пятнами побуревшей крови.

— Кто такая, гражданка? — сурово спросил

Безенчук, не отвел назад свои штык, который почти коснулся груди женщины.

Женщина молчала. Взгляд ее, пустой, медленно блуждал по нашим фигурам. Безенчук повторил вопрос. Быстрый живчик дернул веко левого глаза женщины. Она шагнула на Безенчука и рывком выбросила вперед прижатые к телу руки. От этого резкого жеста полотно свертка взметнулось и опало к земле. Мы увидели на руках тело ребенка. Линялая голубенькая распашонка задралась к голове. На втянутом животе пупа кровяной сгусток.

Мы молча переглянулись. Острый холодок пошевелил наши подошвы. Расспрашивать было не нужно. Желтый восковой домик сказал нам все. Безенчук тихо мне сказал:

— Подержи!

Он приблизился к женщине и, осторожно касаясь ее плеча, очень приглушенно и ласково сказал:

— А де ваша хата, мамо? Дитятко! Треба ж обмыть та покласть дитя.

Женщина остановила взгляд на Безенчуке и медленно повела головой. Безенчук растерялся. Я видел, как у него задрожали губы.

— Она сошла с ума, понимаешь,— шепнул я.

Женщина повернула голову ко мне и снова, с той же устрашающей медленностью, качнула ею, отрицая мою догадку.

Мы стояли растерянные, не зная, что делать, что сказать этой окаменелой женщине. Нужны были особенные слова, а у нас их не находилось. И пока мы искали их, она заговорила сама. И голос ее был похож на смутное бормотание воды, льющейся ночью по камням оврага.

— Что вы стоите? Что смотрите? Они убили ее, дочку мою... Убили! Что же вы смотрите?.. Догоните их! Выбейте из них черные их души! Чего ж вы ждете? Чего ждете? Боитесь?

Голос ее был страшен тем, что в нем не было ни боли, ни ярости, ни гнева. Он был ровен и тусил. Он был мертв, как ребенок на ее руках.

Челюсти Безенчука сжались, лицо побелело. Он шатнулся, как от удара в лицо. Шагнув назад, он выкрикнул, как будто стремясь заглушить этот неживой голос:

— Мамо! Мамо, не треба так... Гляньте — скрозь лежать ваши злодии. Мы ж их не щадили, ни! Мы платимо, мамо, за ваше дитя нхней смертью... Мы життя наши кладемо, шоб не було більш народу муки от катюг... За що ж вы нас лаете, мамо?

Женщина слушала Безенчука не шевелясь, не сводя с него угрюмых глаз. И ответила тихо и протяжно:

— Не-ет... они живы еще... живы волки. Они убежали. Вы выпустили их!

И внезапно она подняла труп девочки на вытянутых руках к прозрачному небу.

— Ну, что же? Пойдем?.. Я поведу вас! Я... Я понесу дочку перед собой. Мы убьем их всех... всех до одного...

Мне стало ясно, что рассудок женщины помрачен. Несмотря на кажущуюся логику, ее речь шла от потрясенного мозга. Но Безенчука эти слова, этот неживой тоскливый голос били в сердце. Он весь дрожал и, ухватив женщину за руки, стараясь опустить их, умолял:

— Що ж вы робите, мамо? Не кажить так, бо неможно слухать. Колы вы еще попрекнете мене, то я ж можу нарушить дисциплину... Я ж пиду быть тих злодиев без приказу... Заспокойтеся, мамо!

Я посмотрел на товарищей. Они стояли, потупясь, в страшном напряжении, и я думаю, что бросься Безенчук в эту минуту вперед, мы все помчались бы за ним, не рассуждая.

Но как раз в это время появился лейтенант Гаврилов. Его звонкий голос вернул нас в привычное состояние. Выполняя команду, мы двинулись к рубежу, на котором вели бой остальные взводы. В перебежках мы оглядывались назад. Женщина продолжала стоять в дверях сарая, подняв труп девочки, словно напоминая о мести и благословляя на нее.

Мы во-время заполнили стык между ведшими бой взводами. Из дальней рощи вырвались

два черных приземистых танка и, брызжа огнем, помчались к дренажной канаве, за валиком которой мы заняли огневую позицию. За танками густой цепью повалила по болоту немецкая пехота.

— Психуют! — крикнул мне сосед слева Мещов, загоняя обойму в винтовку.

Залились наши пулеметы. Над головами с шакальим визгом пронеслись снаряды, и на пути головного немецкого танка встали красные снизу и черные вверху столбы разрывов. Сзади ударила по танкам наша батарея. Второй залп накрыл танк. Яркое желтое пламя рванулось из всех его щелей, как из горелки примуса. Танк завертелся на месте подшибленной собачонкой и осел набок.

Но другой несся вперед, ковыляя по кочкам, и за ним бежали немцы.

Из пушки танка вырвался огневой язык. Я закашлялся от удушливого дыма. Дым отнесло. Вдоль валика полз лейтенант Гаврилов. Он зажимал рукой рот. Между пальцев била кровь.

В это время по линии пронеслась передача приказа:

— В контратаку!

И тогда рядом со мной вскочил Безенчук. Он закричал:

— Взвод! Слухай мою команду!.. Братки, мы ж из Кронштадта. Хай знають звирюги,

йцо таке кронштадци... Прочь хворменки, щоб душиц легше...

И, закинув руки за плечи, Безенчук одним махом сорвал с себя форменку. Нас словно поднял горячий ветер. Безмолвно мы сделали то же. Валик запестрел тельняшками. Безенчук вспрыгнул на валик.

— В атаку, за родину, братки! Взвод вперед!

Мы перемахнули через валик одной волной, молча, без вскрика.

Впереди меня широким волчьим махом бежал Безенчук, с силой выбрасывая ноги, и я не мог нагнать его, хотя не раз бегал на короткие дистанции с хорошим временем. Я задыхался. Я видел, как немецкая цепь замялась, замедлила движение. Потом она стала пятиться и побежала. Безенчук прыжками догнал коротконогого немца и на бегу воткнул штык в его спину. Я пробежал мимо него, когда он выпрастывал штык. Я догонял своего немца, которого наметил на ходу. И, когда уже приподнял винтовку для удара, меня ошеломляюще хлестнуло что-то по голове и кочки болота стремглав бросились мне в лицо.

Я очнулся на перевязочном пункте. Голова была плотно затянута бинтом, пересекшим левый глаз. Я повернул голову, морщась от боли, и увидел рядом Безенчука. Возле него на коленях стояла сестра и бинтовала его ногу. Встретив мой взгляд, Безенчук кивнул мне:

... Очкнувся? От-то добре!

— Как атака? — спросил я.

— Всяко було, — ответил он, отводя взгляд,— помстилы мы им за дите и за його маму. Лежить ихнее падло, аж от самого села до дибровы. Хай их жинки польют сльозы, хай помучаться.

Сестра завязала кончик бинта и встала.

— Ну и все. Сейчас отправим вас, товарищи, в тыл.

Безенчук покосился на нее ироническим взглядом и поднялся.

— У тыл? — спросил он насмешливо.— От-то уважилы, сестриця! Тилько нас там и не було!.. Костка у мене цила? Цила! Який же тыл, колы война не скинчена. Гайда, Витька, до роты!

Я посмотрел на хмурое лицо Безенчука, на удивленную сестру, и мне стало весело. Я тоже поднялся, пошатываясь. Голова гудела, как колокол: осколок мины резнул меня по левому виску.

— Дякую, сестриця, за ласку. Бувайте здоровеньки ! — Безенчук сделал любезный жест и взял меня под руку.

Мы пошли — один качаясь от слабости, другой припадая на ногу — к боевой линии. На пути из-за изб навстречу нам вышли люди. Четверо краснофлотцев конвоировали десятка полтора пленных. Впереди, опустив го-

лову, шел высокий парень с лейтенантскими погонами, без шапки. Ветер шевелил его пепельные волосы. Остальные жались за ним.

Безенчук остановился и суженными злыми глазами посмотрел на немца. Тот, почувствовав чужой взгляд, вскинул голову. Увидев Безенчука, он сразу осекся на ходу и попятился. Все тело его выразило испуг.

Конвойные краснофлотцы приветствовали нас усмешками.

— Здорово, инвалидная дивизия! — крикнул третьевзводник Сивцов.— Еще повоюем, значит?

— А то? — ответил Безенчук и, прищурясь на пленного, спросил: — Куды вы гоните це падло?

— Куда приказано,— ответил Сивцов.— Нагнали мы на них страху. Вот этот самый,— он ткнул штыком в направлении офицера,— как мы его брали, забился башкой под пень. Одна корма торчала. Трясся, как кролик. Капитан его допрашивать стал, а он слова выговорить не может, челюстью клацает. И все одно повторял про нас. Капитан нам рассказал, что он все по-немецки нас полосатой смертью обзывал.

Безенчук презрительно глянул на бледного немца. И сказал сквозь зубы:

— Полосатая?.. Эх, лихо, що вин не тямить по-нашему, а то казав бы я ему, що воны ще

всяку смерть у нас побачуть... И полосату, и в крапочках, и саму що ни на есть собачую... Геть ты, дерьмо с кисточкой!

По голосу Безенчука немец, хоть и не понимая слов, почувствовал всю ненависть и презрение бойца. Он отвернулся и понурился. Группа зашагала дальше.

Безенчук долго смотрел в сутулую спину немца, пока она не скрылась за избами, и с остервенением плюнул в траву.

Товарищ Вихров

Он стоял передо мной курносый, скуластый, в коротком пальтишке с рыжим воротником искусственного бобрика. Его пуговичный носик побагровел от студеного степного суховея. Обшелушенные губы посинели и дрожали, но темные глаза оставались пристальными и спокойными. Он не спускал их с меня.

Он не обращал внимания на краснофлотцев, которые, любопытствуя, обступили его, необычного тринадцатилетнего гостя на батарее, в суровом мире взрослых опаленных порохом людей. Он только переминался с ноги на ногу. Обут он был не по погоде в серые парусиновые туфли на резине, протертые на носках.

Я читал сопроводительную записку, принесенную краснофлотцем из штаба обороны:

«...был задержан утром у оборонительного рубежа и доставлен в штаб. По его показаниям, он, в течение двух недель, разведывал расположение немцев в совхозе. Направляется к вам, как могущий оказаться полезным для батареи...»

Я сложил записку и сунул ее за борт полушубка. Мальчик спокойно смотрел на меня.

— Как тебя зовут? — спросил я.

Он вытянулся, как боец, вскинул подбородок и попытался щелкнуть каблуками, но лицо его искривилось от боли, и он с трудом выговорил:

— Вихров Николай, товарищ капитан.

Я взглянул на его туфли и усмехнулся.

— Мокроступы у тебя не по сезону, Вихров. Небось, ноги застыли?

Он потупился. На скуле у него запрыгал мускул. Он из всех сил сдерживался, чтобы не заплакать. Я подумал о том, как он пробирался ночью в этих туфлях по степи, и мне самому стало зябко. Я сказал ему:

— Добро! У нас другая мода на обувь... Лейтенант Козуб! Прикажите начхозу сейчас же принести валенки самого малого размера.

Долговязый Козуб, старательно козырнув, рысью побежал к начхозу. Я положил руку на плечо мальчика.

— Пойдем в мою хату... Отогреешься — поговорим.

Мы спустились в подземный коридор. В моем командирском каземате гудела, потрескивая, печь. Комендор Лещенко, сидя на корточках, подбрасывал дрова. Отблески огня дрожали на стенах. Я снял полушубок и повесил на крюк. Мальчик, озираясь, стоял у двери. Вероятно, его поразило это сводчатое подземное убежище, сверкающее белизной эмалевой краски, залитое сильным светом лампы, ввинченной в подволок.

— Раздевайся, — предложил я. — У нас тепло, как на артекском пляже в июле. Грейся!

Он стянул с себя пальтишко, аккуратно свернул его подкладкой наружу и, привстав на цыпочки, повесил сверх моего полушубка. Мне понравились его неторопливость и бережное отношение к одежде. Без пальто он оказался совсем маленьким и очень худым. Я подумал, что он, наверно, крепко поголодал в занятом немцами совхозе.

— Садись! Сперва закусим, а потом дело. Был, понимаешь, в старое время какой-то полководец, который изрек, что путь к сердцу солдата пролегает через желудок. Довольно толковый был мужик. Боец с полным животом стоит пяти голодных... Чай любишь крепкий?

Я налил ему чаю в свою толстую фаянсовую кружку. Отрезал здоровый ломоть буханки, наворотил на него масла в палец толщи-

ной и увенчал сверху пластом копченой грудинки. Он почти испуганно поглядел на этот чудовищный бутерброд.

— Клади сахару!

Я придвинул к нему короткую шестидюймовую гильзу, доверху набитую синеватыми, искристыми комьями сахара. Он осторожно выпул кусочек поменьше и положил рядом с чашкой.

— Ого,— засмеялся я.— Ишь, как тебя от сладкого отучили. У нас так чаї не пьют. Это только напиток портить.

И я с плеском бухнул в его чашку увесистую глыбу сахара.

Он исподлобья кинул на меня странный взгляд, худенькое лицо его сморщилось, и из глаз запрыгали неудержимые, очень крупные слезы. Я присел рядом с ним и крепко обнял его костлявые плечи.

— Ну, что ты,— сказал я как можно веселей,— брось... Понимаешь, у меня дома вот такой же оранг-утан остался вроде тебя. Только и разницы, что Юркой зовут. А то и нос такой же каплей и вихры торчат. Вот сейчас ты мне за него, как сынуха. А что было— про то кинь вспоминать. Теперь тебе плакать не из чего.

Он быстро и стыдливо вытер слезы ладошкой. На втянутых щеках его заиграли неровные пятна кирпичного цвета.

Вы не думайте, товарищ капитан,— ска-

зал он виновато, -я не об себе расхныкался. Я маму вспомнил.

Я еще крепче прижал его к себе.

— Вон ты какой! Ну, потерпи немного. Маму выручим. Она ведь жива?

— Жива, — глаза мальчика просияли. — Только голодно у нас. Мама по ночам от немецкой кухни картофельные ошурки подбирала. А раз часовой ее и застал. Да прикладом по руке. До сих пор рука не гнется.

Он стиснул губы. Глаза, только что полные нежности, блеснули жестко и зло. Я погладил его по голове.

— Ложись, вздремни.

Он умоляюще посмотрел на меня.

— Я спать не хочу... Я сперва расскажу про них.

В его голосе было такое горячее упорство, что я понял: уговаривать не нужно. Я вынул блокнот.

— Как, по-твоему,— много немцев в совхозе?

Он ответил быстро и без запинки:

— Первое — батальон пехоты. Семьдесят пятый пехотный полк двадцать седьмой дивизии. Баварцы.

Я удивился точности его ответа.

— Как ты это узнал?

— У них же цифры на погонах. Я все запоминал. И слышал, как они между собой

говорили. Я все-таки в школе по-немецки выучился понимать... Потом мотоциклетная рота. Взвод средних танков... В дотах противотанковые и полевые пушки. Они здорово укрепились, товарищ капитан. Все время цемент на грузовиках возили. Я из окопка смотрел.

— А где доты, ты можешь указать? — спросил я, подаваясь к нему. Я уже понял, что это не обычный наивный рассказ ребенка о враге. Передо мной сидел зоркий, сознательный и точный разведчик. Вишневые глаза его сузились, построжали. Было видно, что он тщательно обдумывает каждое слово.

— Понимаешь,— объяснил я,— нам нужно очень подробно знать, чтобы раздолбать их в лоск. Постарайся не ошибиться.

— Нет,— ответил он,— я хорошо знаю. Только как бы вам рассказать. Самый большой дот у них на бахче, за старым током... А второй, поменьше...

— Стоп! — прервал я его торопливую речь.— Это здорово, что ты так хорошо все узнал. Но, понимаешь, мы ведь в твоем совхозе не были. Где бахча, где ток — не знаем. А морская десятидюймовая артиллерия, дружок, штука крепкая. Начнем наугад садить, много перекрошим, пока в точку ударим. А там ведь и наши люди живут. И мама твоя...

Он взглянул мне в лицо с недоумением и сказал:

— А разве у вас, товарищ капитан, карты нет?

— Карта есть,— ответил я,— да разве ты в ней разберешься?

Он улыбнулся, и улыбнулся со снисходительным превосходством.

— Ну, а как же!.. У меня папа агроном, геодезист. Я карты чертить могу. Папа мой тоже на фронте,— добавил он с гордостью.

— Оказывается ты не мальчик, а клад,— пошутил я, разворачивая на столе штабную пятисотку. Она запестрела осенней рябью своих значков. Коля встал коленями на стул и нагнулся над картой. Тоненький палец его уперся в надпись «совхоз «Новый путь».

— Вот же,— сказал он со светлой улыбкой,— наш «Новый путь», как на ладошке. Какая у вас карта хорошая. Подробная, как план... Вот тут с восточного края и есть старый ток.

Он безошибочно разбирался в карте, как опытный топограф. И скоро частокол красных крестиков моего карандаша испятнал карту по всем направлениям. Коля точно указал, где размещались немецкие солдаты, склады боеприпасов и горючего. Лучше не могли бы сработать и мои разведчики.

— Очень хорошо, Коленька,— сказал я, потрепав его по плечу. И он, на мгновение перестав быть разведчиком, совсем по-ребячьи при-

жался щекой к моей ладони. Ласка вернула ему его настоящий возраст. Я сложил карту.

— А теперь, товарищ Вихров, в порядке боевой дисциплины — лечь и выспаться!

Я видел, что от тепла и еды у него слипаются глаза. Он больше не упрямился и сладко зевнул. Я уложил его на свою койку, накрыл одеялом, а сам вернулся к столу, чтобы произвести исходные расчеты. Я увлекся и не замечал времени. Меня оторвал от стола оклик:

— Товарищ капитан, скажите, который час?

Коля сидел на койке и тревожно смотрел на меня. Я отшутился:

— Спи! Когда дойдет до драки — разбудим.

Его лицо потемнело. Он заволновался. Настойчиво сказал:

— Нет, нет! Мне же назад нужно. Я маме обещал. Она будет думать, что меня убили. Как стемнеет — я пойду.

Я встал и с удивлением смотрел на него. Мне показалось, что он еще не вполне проснулся и говорит спросонок. Я и предположить не мог, что он всерьез собирается проделать вторично страшный путь по ночной степи, который случайно удался ему один раз. Но глаза его были ясны и открыто смотрели на меня, как и в первый миг нашей встречи, и я понял, что он не бредит. Я почувствовал в его словах упрямую волю.

— Чепуху говоришь,— рассердился я.— Кто тебя пустит? Если даже не попадешься немцам, так угодишь под наши снаряды.

Он покраснел и насупился.

— Я не попадусь. Немцы по ночам в домах сидят, мороза боятся. А я все тропки знаю. А снаряд... так мне же нужно маме сказать, чтоб она спряталась, пока вы стрелять будете. Пустите меня, пожалуйста... пустите!

Он просил с неотступным упорством и, признаться, на мгновение у меня мелькнула нехорошая мысль: а что если весь его рассказ— обдуманная комедия? Но, заглянув в его очень чистые глаза, я отбросил это подозрение. Он действительно волновался за мать.

— Вы же знаете, товарищ капитан, немцы никому не позволяют уходить из совхоза. Если я не вернусь, они хватятся — и маме будет плохо...

— Ладно,— сказал я, вынув часы.— Сейчас 16.30. Мы пройдемся с тобой на наблюдательный пункт и сверим еще раз наши заметки. Когда стемнеет, я сам провожу тебя. Будь осторожен, берегись.

Мы оделись. Коля с удовольствием натянул новенькие валенки на заштопанные материнскими руками чулки. Валенки все-таки были великоваты, и пришлось обернуть ступни газетами. По крытому ходу сообщения мы вышли на наблюдательный пункт, вынесенный

далеко вперед батареи. С него хорошо видна была холмистая степь, покрытая голубыми полосами снега, сметенного ветром в балочки. Розовый отсвет заката умирал над степью. Я сел к дальномеру и навел его на едва различимые в дымке, далекие постройки совхоза. Потом я подозвал Колю.

— Погляди, может, маму увидишь.

С улыбкой недоверия к моей шутке он заглянул в окуляр, а я медленно ворочал штурвальчик горизонтальной наводки, показывая ему панораму родного места. Внезапно он отстранился от окуляра и с детской радостью затеребил меня за рукав.

— Скворешня! Наша скворешня! Честное пионерское!

Я отстранил его и сам взглянул в окуляр. В поле зрения дальномера над зеленой крышей, возвышаясь поверх сетки оголенных веток тополей, темнела на шесте маленьким квадратиком скворешня. Я видел ее вполне отчетливо. И она натолкнула меня на мысль. Я отвел Колю в угол блиндажа и тихо поговорил с ним под недоумевающими взглядами краснофлотцев-наблюдателей. Он внимательно слушал меня, и глаза его разгорались.

— Понял? — спросил я, кончая разговор.

— Все ясно, товарищ капитан,— весело кивнул он.

Солнце садилось. С запада, с моря потяну-

ло ледяным ветром. Я проводил Колю на рубеж, вызвал начальника участка, рассказал ему вкратце все дело и просил вывести Колю за проволоку совершенно скрытно. Потом я долго смотрел в темноту, где скрылись три тени — Коли и двух бойцов. Я ждал внезапной стрельбы. Но все было тихо.

Ночью мне не спалось. Я без конца пил чай и читал. К рассвету пошел на наблюдательный пункт. Как только заголубело на востоке и я смог различить над тополями крошечный квадрат скворешни, я подал команду и первый пристрелочный залп башни расколол зимнее утро. Гром медленно угас над полями. И в тишине я увидел, как скворешня качнулась дважды и, после паузы, еще один раз.

— Перелет... вправо,— перевел я для себя и скомандовал второй залп.

На этот раз скворешня осталась неподвижной, и я дал три залпа обеими башнями на поражение. С волнением, которое понятно только артиллеристам, я увидел, как в дыму разрывов взлетают громадные глыбы и бревна. Десятидюймовые подарки крушили бетон и накаты, выковыривали из земли все, что загнали в нее немцы, вместе с самими немцами.

Раскатав первый дот, я перенес огонь на второй. И снова скворешня вела со мной дружеский немой разговор. Затем огонь обрушился туда, где был указан Колей склад боепри-

пасов и горючего. Тут мне повезло с первого залпа. Над совхозом полыхнула широкая полоса огня. Тополя над зеленой крышей шатнулись, как от урагана, полетели ветки. Исчез шест вместе со скворешней. Вихревое облако дыма вскинулось метров на двести ввысь и расплылось шапкой гриба. Взрыв был очень сильным, и я со страхом подумал о том, что он мог натворить.

Затрещал телефон. С рубежа обороны просили прекратить огонь. Морская пехота уже пошла в атаку. Башни смолкли.

Я вскочил в мотоцикл и в открытую промчался по полю на рубеж. От совхоза доносился пулеметный треск. Ошеломленные немцы, потеряв опорные точки, сопротивлялись слабо. С окраины уже мигали веселые флажки семафора, донося, что противник покидает совхоз.

Я пошел с начальником участка напрямик по тому месту, где еще вчера появление человека вызывало шквал свинца.

Над садами совхоза тянулся густой серо-белый дым горящего бензина и глухо ухали рвущиеся в огне снаряды и мины. Ускоряя шаг, я торопился к зеленой крыше между надломленными тополями. Еще издали увидел у калитки закутанную в оренбургский платок женщину. Она смотрела из-под руки, и к ней жалась маленькая фигурка в белых валенках выше колен. Эта фигурка рванулась мне на-

встречу. Я подхватил Колю на руки. Но ему, очевидно, не хотелось, чтобы я принимал его за маленького. Он уперся руками в мою грудь и рвался из объятий. Я опустил его на землю, и он, выпрямясь, приложил руку к своей порыжелой шапчонке.

— Товарищ капитан, наблюдатель Николай Вихров задание выполнил.

Подошедшая женщина, с замученными глазами и усталой улыбкой, протянула мне руку.

— Здравствуйте, товарищ капитан... Он вас так ждал, так ждал. Спасибо вам, родной! Всем вам спасибо!

И она поклонилась мне глубоким русским поклоном. Коля держался за мою руку.

— Молодец! Отлично управлялся со скворешней. Ну, как — страшно было на чердаке, когда я начал стрелять? — спросил я.

Коля посмотрел на меня доверчиво и просто.

— Страшно, товарищ капитан. Ой, как страшно. Как первые снаряды ударили, все загремело, зашаталось, как проваливается. Я хотел с чердака долой. А потом стыдно стало. Сижу, дрожу и сам себе говорю: «Сиди, сиди, сиди». Так и досидел до взрыва. А после взрыва сам не помню, как внизу очутился...

И он конфузливо опустил глаза, стыдясь испуга, маленький тринадцатилетний герой, даже не ощущающий величия своего поступка.

Железный крест

Это было на первых боевых стрельбах из винтовки. Старший лейтенант Воронков с очень неприятной усмешкой осмотрел мою целехонькую мишень и, поджав губы, сказал без раздражения, но очень сухо:

— Интересно! Пошли ваши пульки купить у бабки простокваши.

И под оскорбительный гогот всего взвода старший лейтенант махнул рукой на лежащую за стрельбищем деревушку, где мы действительно добывали густую, жирную простоквашу.

Я стоял красный и злой, стиснув пальцами дульную накладку винтовки. Шутка старшего лейтенанта показалась мне плоской. Я не испытывал особого огорчения от своей неудачи. В конце концов в жизни я готовился стать архитектором, а не стрелком. Мне казалось важнее знать каноны Витрувия и Палладия, чем попадать из винтовки в безобразно размалеванный кусок фанеры, изображающий голову и плечи пехотинца фантастической армии. Служба во флоте для меня только неизбежный пятилетний эпизод, а зодчество — будущее и смысл моего существования.

Когда мы вернулись со стрельбища на корабль, Воронков приказал мне явиться после обеда к нему в каюту.

Я пришел обиженный. Разговор был мало

приятный. Лейтенант уже не шутил. Строго и серьезно он сказал мне, что я позорю не только взвод, но и весь корабль, и что стыдно мне, интеллигенту, стрелять хуже колхозных ребят.

— Вы, я вижу, считаете свою стрельбу нормальной... Но этот номер не пройдет. Я буду заниматься с вами отдельно, и будь я не командир, если я не сделаю из вас снайпера.

Я хотел возразить, что репутация снайпера мало прельщает меня, но, взглянув на лейтенанта, удержался. Я понял, что подобная философия не будет одобрена, и попросил у лейтенанта разрешения быть свободным.

С этого дня началось мое мучение. Когда остальные товарищи отдыхали от занятий, читали, пели, развлекались, я часами торчал у прицельного станка под неусыпным наблюдением старшего лейтенанта. Я без конца наводил винтовку с зеркальцем и без зеркальца, спускал курок и докладывал, куда в момент спуска увалилось дуло: вправо, влево, вверх, вниз. День ото дня мои упражнения становились все длительнее и сложнее. Я изучал прицелы простые и оптические, деривации, траектории, влияние на полет пули атмосферных и температурных условий и прочую балистическую премудрость. Напрасно я надеялся, что лейтенанту, наконец, надоест возиться со мной. Ведь я отнимал и у него часы досуга, а Ворошков был немногим старше меня, лю-

бил повеселиться и поухаживать за девушками. Но он оставался неумолим и не пропускал ни одного дня без занятий.

Я похудел. По ночам меня начали преследовать кошмары. Моя винтовка разгуливала по кубрику на коротких кривых ножках, приросших к прикладу. Она подходила к моей койке, любезно кивала штыком и, срывая рукоятью затвора с меня одеяло, приглашала прогуляться с ней под руку в тир. Шла неделя за неделей. И на следующих стрельбах я выбил максимальное количество очков.

Как ни странно, несмотря на возросшую неприязнь к винтовке, я посмотрел на нее после этих стрельб с непонятной симпатией и гордостью. Я ждал похвалы лейтенанта.

Но он твердо вел свою линию. Подсчитав мои очки, он обронил с кривой улыбочкой:

— Плоховато! Всякий салажонок так может.

Я рассвирепел. Теперь уже во мне взыграло разъяренное самолюбие. Я решил показать лейтенанту Воронкову, на что способен потомственный интеллигент. Уже без всякого принуждения, по собственному почину, я снова проводил долгие часы у прицельного станка и зубрил пособия и руководства по стрельбе из нарезного оружия, которые удалось добыть в библиотеке ДКАФ. Старший лейтенант делал вид, что не замечает моего рвения.

Весной я заявил ему, что берусь три раза

подряд выбить полные очки по любому упражнению. Воронков пожал плечами и заметил, что самомнение всегда казалось ему моим неотъемлемым и худшим качеством. Тогда я предложил ему пари на два кило шоколада «ассорти». Против ожидания, он принял пари.

Утром мы отправились в тир отряда. Лейтенант поставил мне на двести метров выскакивающую головную мишень, в которую я должен был трижды выпустить по пяти патронов. Я укладывался на валик не без волнения. Еле заметная точка выскакивала вдалеке на короткие мгновения. Когда в стенах тира замер отгул последнего выстрела, мы пошли к мишени. Я предоставил лейтенанту сидеть на корточках и считать пробоины, а сам стоял, победоносно усмехаясь, хотя на душе у меня скребли кошки. Когда лейтенант поднялся, лицо у него был смущенное, но в зрачках бегали подозрительные искорки. Он промямлил нехотя:

— Ничего себе...

Я самонадеянно ухмыльнулся.

Ничего себе?.. Это было больше чем «ничего себе». Пятнадцать пуль легли под козырек намазанной на фанере каски в кружок диаметром не более пяти сантиметров. Некоторые пули почти влезали одна в другую.

— Разрешите обратиться, товарищ старший лейтенант? — сказал я.

— Разрешаю, — снисходительно ответил Воронков.

— Я хотел бы знать, зачем, собственно говоря, мне возиться с винтовкой, когда в современном морском бою нам даже не придется взяться за нее. Не будем же мы ходить на абордаж. Так на кой чорт моряку винтовка, если дело решается орудийным огнем на 20-километровой дистанции! Или это традиция?

Лейтенант кинул косой взгляд на мою небрежно отставленную ногу, на мою развязную позу победителя и вдруг обдал меня ледяным душем своего голоса:

— Станьте как следует, когда разговариваете с командиром! Где ваша ножка? Это вам не балет «Лебединое озеро»! И отучитесь задавать такие вопросы. Винтовка пригодится в будущих боях не меньше наших пушек.

Он повернулся и пошел из тира. На ходу, не оборачиваясь, крикнул:

— Хорошенько вычистите винтовку! Завтра явитесь ко мне за получением шоколада. Пари есть пари, поскольку я имел неосторожность его допустить.

Два кило «ассорти» я разделил с однопризводцами. Мы съели его, посмеиваясь над лейтенантом. Я перестал обращаться к нему вне службы. Он показался мне сухим формалистом, неспособным понять большие движения человеческой души. И то, что приказом я

был зачислен в снайперскую команду, не примирило меня с ним.

На второй месяц войны нас неожиданно сняли с корабля и вместе с другими экипажами отправили ликвидировать немецкий танковый прорыв под Кундой. Ночью мы сменили на позиции ослабленную в боях пехотную часть. Позиция тянулась по правому берегу узкой речонки Селы, по которой свободно бродили эстонские куры, нагло не признавая состояния войны. На рассвете старший лейтенант Воронков вызвал к себе шестерых снайперов роты.

— На берегу для вас подготовлены гнезда. Сейчас займете их по порядку номеров. На той стороне Селы противник. Вести наблюдение. Кто покажется в пределах досягаемости — снимать. Бить наверняка. За бесцельную трескотню буду драть нещадно.

Мы поползли, каждый к своему гнезду. Я пробирался между лайковыми стволами берез в мокрой, душистой траве. Брюки и фланелька спереди мгновенно промокли насквозь. Но я не обращал на это внимания. Я бережно тащил свою снайперскую винтовку, остерегаясь задеть ею мельчайшую веточку. Роща оборвалась. Шагах в десяти, над самым обрывом берега, я приметил свежую желтизну земли у корявого пня. Это было мое гнездо. Вжимаясь в траву, я подполз к нему. Гнездо было обо-

рудовано под корнями срубленной ели. Я забрался в него, просунул винтовку между скрученными отростками корней и осторожно снял кожаный чехол с оптического прицела. Улегшись поудобнее, я прилип к окуляру.

За мерцающей узкой чешуей речки лежал такой же песчаный берег с редкими березками. Сквозь их лихорадящую от ветерка листву вдали виднелись два полуразваленных сарая. По указаниям лейтенанта, там у околицы деревни предполагались моторазъезды немцев. От одного из сараев отходила обычная деревенская изгородь из прясел, приколоченных к кольям. Я медленно вел дуло винтовки вдоль этой изгороди и совсем неожиданно в разрыве листвы увидел его. Он вышел из-за сарая неторопливо и спокойно, видимо, никак не предполагая близости врага. Вдавив бровь в окуляр, я рассматривал его. Сердце билось у меня не чаще, чем обычно, но очень тугими толчками. Мощная оптика прицела так приближала его, что, казалось, протяни я руку, и она упрется в его плечо. На нем был серый одноборгный мундирчик, узкий в плечах, широкие штаны, заправленные в низкие голенища. На плечах—погончики с фельдфебельским кантом. Стальная каска с тупыми рожками покрывала голову. Он прошел шагов десять и присел на прясло. Я видел его лицо с небритой порослью, унылый немецкий нос, вытяну-

тый, как у борзой, пуговицы, медную пряжку пояса, ушки, вылезшие из голенищ. Острый треугольник моей мушки жадно ползал по его телу, ощупывая его.

Он оглянулся назад, на сарай, с опасливой миной зверька, вылезшего на открытое место в лесу. Вынув из кармана грязный платок с голубой каемочкой, он, с аккуратностью хрестоматийного Ганса, расправил его на коленях. Потом полез за пазуху, долго копался там и, наконец, выложил на платок какой-то бумажный кулечек. Он развернул бумагу, и на солнце что-то блеснуло желто и остро. Я навел мушку в центр платка и увидел золото.

На полуторастаметровой дистанции я различал золотые вещички, разложенные на платке, так четко, как будто они лежали на моих коленях. Он медленно перебирал драгоценности. Поднимал к лицу, видимо, любуясь их блеском, снова опускал на платок. Наконец, он тщательно завязал кончики платка и отправил сверток за пазуху.

Теперь он повернулся ко мне грудью. На сером сукне мундира над грудным карманом тускло блеснул орден Железного креста.

Он поднял правую руку и стал похлопывать пальцами по кресту, забавляясь им. Очевидно, в его сознании этот четырехконечный кусочек металла как-то связывался с металлическими игрушками, которыми он только что тешился,

У меня уже болела бровь от жесткого ободка окуляра, но я ни на миг не выпускал его из поля зрения... Вот он сидит передо мной на другом берегу эстонской речонки, «германский рыцарь, крестоносец с железной душой», награжденный за «боевые добродетели»...

С чьей груди рвал он броши, чьи руки ломал, сдергивая часы, в чей живот всаживал штык, сдирая цепочку? На чью голову опускался приклад этого вора, грабящего во славу германского отечества?

Плечи у меня затряслись неожиданной крупной дрожью. Должно быть я сильно промок, ползая в траве. Эту дрожь нужно было подавить. Она могла испортить мне выстрел. Я шире раздвинул ноги и несколько раз глубоко и медленно вдохнул хвойный воздух июльского утра. Потом продвинул мушку к ордену немца. Острие конуса остановилось под центральным кружком креста. Но я еще не стрелял. Я хотел быть совсем спокойным при спуске курка.

Склонив голову набок, немец сжимал крест между большим и указательным пальцами. Он наслаждался им.

Вздохнув в последний раз, я очень осторожно и плавно потянул крючок. Выстрела я не слышал, лишь ощутил сильный толчок отдачи. Видимо, я весь переключился в зрение. И ясно видел, как пуля вышибла крест из его пальцев. Еще не понимая, что это смерть, он

сделал невольное движение вновь поймать этот кусочек металла. Но скрюченные пальцы схватили воздух, и рука впилась в мундир, как будто силясь разорвать сукно. Ладонь сползла с груди, и окуляр показал мне смятый моей пулей крест. Немец медленно повалился через жердь на спину. Окованные каблуки его заскребли землю, вырывая траву...

Я окончил архитектурный институт. Я мечтаю о зодчестве итальянского Ренессанса, обновленном величием наших дней. Вечерами я люблю читать у себя в комнате итальянские стихи Блока. И я ненавижу убийство.

Но я ощутил гордое удовлетворение, уничтожив эту человекоподобную мразь.

Мне лишь досадно, что я не мог перебраться на тот берег Селы, снять с мертвеца клейменный моей пулей крест и принести его в роту. Мне хотелось подарить его старшему лейтенанту Воронкову в благодарность за то, что он сделал меня снайпером, и в память рождения во мне неугасимой ненависти бойца, которая дала меткость моему глазу и твердость руке.

Парусный летчик

Фамилия моя — Филонов. Незначительная фамилия. Лучше, конечно, был бы Орлов или

Соколов, но так у родителя вышло... Старший лейтенант Филонов истребительной группы Краснознаменного Балтийского флота. Вожу свое звено. Правым ведомым у меня лейтенант Ковалев, а левым Володя Савчук, парусный летчик. Вы интересуетесь, что такое «парусный летчик»? Так вы не знаете Володю Савчука? Ну, значит, вы вообще ничего не знаете.

Вся моя речь о Володе пойдет. О себе рассказывать нечего. А Володя мой дружок кровный. Годков ему, пожалуй, вроде двадцати двух, сам среднего габарита, носик в веснушечках, а зубы такие, что любой гражданке на балу вместо ожерелья надеть завидно. Тридцать два зуба, полный комплект.

Жаль только—рассказчик я плохой. Чего-то у меня со словами творится, как говорить начинаю. Цепляются за язык, как юбка за репейник, просто не отодрать. Так вот, чтоб глаже разговор шел, мы пропустим по маленькой. Время сейчас военное, пить не положено, но тут у меня во фляжке законный мой морозный паек. Сто граммов вам, сто мне. Чокчок — и дело в мешок!

А выпьем мы за володино здоровье... Галина! Ты вместо того, чтоб зубы скалить, дала бы стаканчики. Странная, знаете, конструкция — женщина. Выдумывает, что мне только повод нужен, чтобы «пропустить».

Так вот, про Володю. Вместе мы с ним на

Кате школу кончали, вместе на Балтику по-ехали, и так вышло, что даже в одну девушку мыслями уперлись. Но только мне больше повезло... Опять ты, Галина, хихикаешь? Всю правду говорю. Иначе сидела бы ты в Володиной комнате, а не в моей... Но нас такое происшествие не поссорило. Девушек хороших у нас много, и Володя найдет свою, вдесятеро лучшую... Ну, вот, извольте видеть? Только что хихикала, а теперь губы надула... Успокойся! Я же теоретически, а на практике ты для меня самая лучшая.

Однако что это я все в сторону, как докладчик по международному положению. Возвращаюсь на прямой курс... Летали мы, значит, с первого дня войны в одном звене. И летали в общем счастливо, исключая Володи. То есть летчик он высокого полета, но крепко невезучий. За первый месяц я уже троих этих самых фрицев отправил вниз хлебать балтийскую соленую воду. Ковалев тоже одного запорол, да и сами мы имели в наших ястребках десятка по полтора дырок на память. А Володя никак не мог к нашему счету пристроиться. И немцев сбитых нет, и самолет без царапинки. Очень это его волновало. А тут еще дружки стали подначивать. «Ты, — говорят, — Володя, вериняк, немцев недолюбливаешь? Вериняк, не нравится тебе ихнее обращение? Отойдешь, небось, от аэродрома километров

на двадцать и вертишь вола на месте. Иначе давно б тебя немчики пометили».

Володя от злости просто зубами скрипит. Как боевой вылет — его даже вроде малярия трясти начинает. Летим, напоремся, завяжем бой, а от Володи фриц или финик обязательно на полном газу драпа даст, одна вонь бензинная в небе останется. И так из недели в неделю, из месяца в месяц. К декабрю я еще троих на свой счет написал, да двоих Ковалев, а у Володи — все ничего. В декабре разом хватили студенцы, снегом завалило. Продолжаем летать. Наконец, выпал счастливый денек и Володе.

Как сейчас это утро помню. Сидели мы в общежитии. Только рассветать начало. Я брился. Володя к меховым штанинам пуговицы пришивал, другие — кто письма писал, кто читал. А погода стояла самая гробовая. Пурга — у барака даже стенки шатаются. И в эту самую минуту громкоговоритель с командного пункта как рявкнет голосом капитана Бондарева: «Звено старшего лейтенанта Филонова к самолетам».

Бегу я через поле, рукавицей с недобритой щеки мыло стираю. Оглянулся — за мной Володя на ходу в брюки прыгает, а за ним Ковалев рысит. Добежали до самолетов, а их механики еле удерживают. Так пургой и рвет. Подходит капитан и объясняет задачу:

— Наши разведчики обнаружили на финской стороне за фронтом большой товарный состав, движущийся от станции Исалми к Пиэксимяки. Предполагается, что с боеприпасами. Разведчики сами не могли его сработать — на последних каплях горючего тянули. Бомбардировщики посылать не стоит — погода не та. Ну, а вы верткие, как-нибудь доберетесь. Словом, не подведите.

Сели мы по самолетам. Поднял я руку и рванул по дорожке. Такой навстречу вихрь, что отодрало меня от земли на половине взлетной дистанции.

Осматриваюсь. Справа, как всегда, Ковалев, слева Володя. Но только чуть их заметно потому, что воздух не воздух, а кислое молоко. Дал я сигнал итти наверх, и взмыли мы горкой пробивать эту серую кашу. Пройдем, думаю, до места над облаками, а там видно будет, как дальше. И в самом деле, на двух тысячах с небольшим вырвались мы в такое синее небо, что июлю подстать. Летим, а под нами словно ковер из бурой ворсы лежит, колышется. Внизу ничего не видно. Стали выходить к Исалми, и погода будто развеселилась. Пошли на снижение. Из-под ковра выскочили метрах на трехстах и даже удивились. До того внизу красота и спокойствие. Леса стоят могучие, как серебром убранные. Тишь. А между лесами пролысины разных образцов.

это, — знаем, — озера. Непонятно, зачем в этой Финляндии озер столько. Вместо земли на каждого жителя, считано, по озеру приходится. Оттого они, верно, и злые, как сомы...

Вышли мы на линию железной дороги. Вьется она ниточкой, из леска в лесок проползает. Но только никакого движения на ней незаметно. Пустыня, поезда и в помине нет.

Сделали два круга, три, четыре, — нет поезда. И только на пятом подметил я в лесу парок какой-то, словно охотник трубочку раскуривает. Приглянулся и вижу — финики схитрить захотели. Как услышали наши моторы, остановили состав в чаще. Сосны там метров по тридцать, внизу темь, а по крышам вагонов хвоя. Сразу ни за что не разобрать. Ну, а паровозу все же иной раз вздохнуть надо, вот и выдал себя.

Мигнул я своим лампочкой, дескать, «мальчики, вниз!»—и ссыпались мы сверху на самый поезд. Я в лоб паровозу, Володя и Ковалев вдоль состава. Чесанули пулеметами по вагонам, а я паровозу в грудку ударил. Видим — стали финики из теплушек прыгать на полотно. Спрыгнут и корчатся, как кваксы. Но только многие, как лягут, так и не встают. Что ж! Ихнее дело — сами того захотели. Паровоз я прошил с первого захода чисто — только пар брызнул. А на втором спустился пониже и пощекотал зажигательными. Вышло, что угадал.

Как полыхнуло, как грохнуло! Ястребок мой так подпрыгнул, как ни одной блохе не удастся. Еле я выправился. Видать, они в вагонах взрывчатку для саперов везли. Весь поезд разнесло, только щепочки взвились... Раз так, — дело кончено, можно ворочать домой.

А тут немного развиднело и даже в облаках синие проруби появились. Построились мы и домой, к обеду. Однако по сторонам поглядываем, потому что погода и для фрицев летная стала.

Так и вышло. Откуда ни возьмись, вываливаются на нас из облаков шесть «мусоров». Ну, думаю, будет парад. При такой пропорции у них всегда боевая храбрость появляется. И, действительно, завязалась у нас воздушная танцулька. Только им верю в тот день попугай несчастливые билетики вытянул из гитлеровой шарманки. Дело в том, что, не хвастаясь, скажу: глаз у меня чересчур верный от природы. Пулеметный глаз специального назначения. Кто мне под мушку попадет — будь весел, второй раз приглашать незачем. И прежде чем «мусоры» развернуться успели, ихний головной уже отправился вверх тормашками на вечное землеустройство. И остались мы с Ковалевым против двух, а на Володю на одного все ихнее второе звено насело. И удалось им все-таки немножко Володю от нас оторвать. Веду я бой, турусы по небу развожу, а сам все налево поглядываю. Однако

вижу, Володя молодцом держится. В это время Ковалев своего фрица срезал. И мой тут же в сторону отвалил — не понравилось. Решил я Володе помочь. Но глянул в его сторону — волосы шлем на мне подняли. Нет володиного ястребка! Сбили! Один хвост дыма книзу тянется. Злоба меня взяла — прямо глотку перехватило...

...Одну минуточку! Галина! Ты что ревешь? Вот видите, — сколько раз слушала, а на этом месте всегда в слезы. Жаль Володю. Останови слезы и лучше завари нам чайку.

Увидел я такую картину и бросился на этих трех немцев. И снова мой пулеметный глаз не подвел. Один из них вспыхнул, перевернулся и... ваших нет. В другое время не упустил бы я четвертого, составил бы им полную загробную компанию в преферанс. Но тут не до этого было. Ухнули мы с Ковалевым вниз, хоть посмотреть, где володины косточки лежат. Но внизу сплошной бор — не углядишь. И дыма нет и огня не видно. Думаю, — успел мотор выключить, грохнулся вхолодную. Прошли мы над бором — тихо, пусто, скучно. А горючее у нас на исходе, только домой дотянуть. Пришлось поворачивать. Идем мы с Ковалевым рядком. И вижу я, лицо у него каменное стало и пальцы в штурвал так и влипли.

Перелетели залив. Вот и аэродром наш. Сели. Люди к нам бегут. Капитан Бондарев впереди.

Я вылез из самолета, стал перед ним, а голос у меня к зубам прилип, крик вырваться не может. Наконец, выжал как-то: «Товарищ капитан! Задание выполнено, поезд уничтожен. Лейтенант Савчук из полета не вернулся!» Все молчат. И такая тишина, что услышал я, как за оградой с елки снег осыпался.

Узнали ли мы, что с Володей, — вы спрашиваете? Сейчас... Все по порядку.

Имел, знаете, Володя такую чудную привычку таскать с собой в полет паропку дымовых шашек. Даже приладил сбоку кабины такую для них фанерную коробочку. Мы его на зуб брали: «Ну, скажи, лешего ради, зачем ты эти шашки таскаешь?» А он смеется: «На всякий случай... если вынужденная посадка, шашку сброшу, определюсь по ветру, как садиться, чтоб машину не угробить». Стыдили мы его даже: «Негоже советскому истребителю на вынужденную посадку загадывать». А он свое: «Береженого шашка бережет». И вышло так, что выручила его именно глупая эта привычка. В разгаре драки влепил ему один из арийцев очередь зажигательных в фюзеляж, разбил пулемет. И еще одна пулька угодила прямо в шашку. Мгновенно дым столбом, а Володя и сообразил. Одному с тремя без пулемета не игра, а обмануть дураков не грех.

Ввел Володя ястребок в штопор, мотнул три-четыре витка, потом в пике и стрелой вниз. А дым за ним винтом пошел. Этот дым я видел, да и немцы по нему решили, что Володе каюк, и уж больше им не занимались. А он у земли выровнялся, коробочку с горящей пашкой отодрал прочь и пошел над самым бором. Огляделся, увидел — никто не гонится, стал снова высоту набирать. Но только нас из виду потерял. Искал, искал, по всему небу мотался, пока горючее не стало кончаться, и двинулся в одиночку к заливу, чтобы домой лететь. А там по пути есть одна такая вредная батарея на островке. Как туда летим,—она никогда не стреляет. Знает, что мы можем сверху навалиться и чистку произвести. Зато на обратном пути обязательно лупит во все жерла. Соображает, что раз домой идем, то бензина у нас кот наплакал и ради забавы задерживаться не станем. Так и на этот раз. Как завидели Володю, так и шарахнули. И до того недурно, что третьим снарядом прямо в володину птичку вмазали. И получилась его ястребку в один миг полная амортизация. Крылышко направо, крылышко налево, хвост трубой и лететь не на чем. Уж он и тому был рад, что сам не диференцировался. Выпал из обломков, подождал, пока фюзеляж мимо него пырнул, раскрыл парашют и поплыл. Минуты через три сел на лед, почти рядом с кусочка-

ми ястребка, которые неподалеку шмякнулись. Осмотрелся, и стало ему не по себе.

Островок километрах в двух за спиной, а до нашего берега еще километров сорок тащиться. А добираться нечем, кроме своих двоих. Тут еще с островка по нему шрапнелью двинули. Лег он плашмя на лед и совсем заскучал. Но духа не теряет. Какой-нибудь иноземный чудак в таком положении сразу пар бы выпустил, стал бы на коленки, ручки к небу: «Ауф видерзеен, майне альте мутер, дас ист ганц капут фюр дайне зон»[1]. Но Володя не иностранец, его комсомол выкормил. Скучает он, а про себя раздумывает. И вдруг видит — с островка на лед спускаются цепочкой десятеро лыжников. Значит, решили живьем брать. А у Володи оружия осталось — маузеришка 7,65. Семь патронов им, восьмой себе. Стало ему совсем неуютно. А лыжники бегут быстро. Надо сказать, что он, как сел, так от парашюта не отвязывался. Все равно ни к чему.

Парашют на льду лежит, колышется, а Володя рядышком. Повернулся он, чтоб поудобней за сугроб улечься, а в это время ветер вздул купол и оттянул Володю назад на несколько метров. И брякнуло его об отломанную лыжу ястребка, которая тут же валялась.

---

[1] Прощай, дорогая мама, пришел конец твоему сыну.

Уставился он на лыжу, и тут его осенило. Вот уж правильно сказано, что русскую смекку никто не перешибет. Схватился он за лыжу, лег на нее брюхом, верхние стропы парашюта подтянул, как вожжи. Вздуло купол еще сильней, да как рванет Володю с места — только снег под лыжей хряпнул. Лыжники по нему из автоматов сыпнули, да поздно. Лед в эту зиму на заливе в одну ночь схватило, снежком присыпало, гладко, как на катке. И понес Володю ветер к родным местам пуще рысака. Только за лыжу держись и не зевай, чтоб на какой-нибудь ропачок не напороться и не рассыпаться. Но ничего такого не случилось. Несколько раз стропы спутывались и парашют ложился, но Володя вскочит, выправит и дальше. И таким манером пролетел он поперек залива, как яхта, в час с небольшим. Смотрит — берег сам на него ползет.

А на берегу стоял в ту пору на посту краснофлотец берегового наблюдения. Глядит на залив. Бело, гладко, снежок метет, никого не видать. И вдруг обомлел. Катит прямо на него невесть что. Шар не шар, парус не парус, сзади какая-то палка волочится, а на ней снежный ком. Краснофлотец, ясно, заподозрил неладное. Навел винтовку и кричит: «Стой, стреляю!» А куда стрелять, и сам не знает. Шар, палка, снежный ком — все равно ничего не убьешь. Но только шагах в десяти шар пада-

ет на лед, снежный ком встает на задние, вроде белого медведя, но вполне человечьим голосом хрипит:

— Убери винта, годок. Лейтенанта истребительной авиации убьешь.

Видит часовой, что перед ним человек. Только снегом весь облип. Даже на глазах снег намерз. Но говорит вполне по-русски. Однако все же приказал Володе поднять руки и завел его на пост. Там все и выяснилось.

А в ту пору на аэродроме собрались летчики в красном уголке, и уголок будто уже не красный, а черный стал,—так тоскливо. О Володе все думают. Семья наша дружная. Но тут распахивается дверь, и старший механик наш орет: «Володю привезли!..» Вскочили мы, как по тревоге. «Как так привезли? Как могли убитого летчика с чужого берега привезти?» А механик клянется: «Честное комсомольское, привезли. И вовсе не убитый. Сам идет».

Выскочили мы наружу, а Володя с грузовичка слезает. Все на него навалились, и хоть из такого приключения выскочил он без повреждений, а от объятий прихворнул дня три... И стали мы снова летать нашим звеном. Такая история!

А вот и Галина с чайком. Хлебнем за володино здоровье и за ваше тоже. Будем веселы!

Последний заплыв

Тонуть мне пришлось на транспорте «Герой», по пути из Таллина в Кронштадт.

Из Таллина мы уходили последними. Улицы уже обстреливались немецкой артиллерией. Снаряды с воем проносились над головой. То там, то тут слышались тупые удары стали в камень и за ними грохот разрывов, невидимых за домами. Позади, над серыми шиферными крышами, ярко пылала подожженная бомбой верхушка Олай-кирхе.

Мы пробирались в гавань, прижимаясь к домам. Дома стояли мертвые, с наглухо запертыми подъездами, с захлопнутыми ставнями. Город казался вымершим.

В гавани пришлось бежать по открытому пространству, заваленному брошенным портовым имуществом, ящиками, бочками, баками, бунтами тросов, железными балками. Над всем этим хламом беспрестанно рвалась шрапнель, расплываясь в небе розовыми помпонами. Пули шлепались в ящики, звякали по железу. До стенки добежали не все. Десяток товарищей остался на этом проклятом месте.

Привалясь к стенке, как теленок, жмущийся к корове, нас ждал транспорт. Он был очень жалок на вид, инвалидный служака, весь в ржавчине, которая проступала сквозь серую окраску его помятых бортов.

Подбегая к его тупой корме, я прочел на ней: «Г е р о й».

Хоть и не до веселья было, но я расхохотался на бегу. Уж очень нелепо выглядело это громкое имя на таком старом ящике. Мы с грохотом пробежали по сходне на палубу. Вероятно, посудина Ноя, когда он собирался спасаться от потопа, имела такой же вид. Все было завалено сундуками, чемоданами, рюкзаками. Пестрели наклейки: «агитбригада краснофлотского театра», «адмотдел управления тыла» и прочее. В кишащей на палубе толпе было много женщин. Актрисы, жены командиров, таллинские жительницы. Были они бледны, прически у них посбивались, в глазах страх, — но держались спокойно. Между прочим, женщины в настоящей опасности держатся здорово. По пустякам могут впасть в истерику и наделать шуму на все Балтийское море, а если дело всерьез, то ведут себя молодцами. Мужчинам можно в пример ставить.

Но толкотня и гам на палубе были все же отменные. Траспорт небольшой, тысяча двести тонн, а набралось на него без малого человек шестьсот. Стояли впритирку. Но кое-где уже устраивались по-хозяйственному. У фок-мачты даже кипел медный самовар, и к нему выстроилась очередь с чайниками.

А шрапнель все еще разрисовывала небо помпонами. С треском упала на стенку сход-

ня. Палуба задрожала от работы винта. «Герой» медленно отползал задним ходом на середину гавани. Между бортом и стенкой ширилась зеленая полоса воды, мутно-радужной от нефти.

Прижатый к борту, я смотрел на покидаемый город. Западная часть его тонула в буром дыму пожаров. Из дыма рвались огненные языки. Горечь и обида злой рукой сжали мое сердце.

И тут я услышал сверху сердитый хриплый голос:

— Товарищи командиры! Кончать базар надо! Что это на палубе творится? Беритесь за дело. Барахло разложите поаккуратней, чтоб ног не ломать. Делай все сами, у меня свободных рук нет. Гражданок женского пола прошу перейти на корму в каютные помещения. Мужчинам оставаться на палубе. Живо, товарищи!

Голос показался мне необычайно знакомым. Я вскинул голову к мостику. Свесясь через поручни, на меня смотрело лицо цвета сырого бифштекса, с бугроватым носом и серыми моржовыми усами. Я радостно удивился.

Командиром «Героя» оказался Степан Акимович Барсуков. Если вы не спортсмен — вам это имя ничего не скажет. Ну, а кто спортом болел, те сразу вспомнят.

Был Степан Акимович самым преданным, самым жарким болельщиком Ленинграда. По

всем видам спорта. Профессии совсем не спортивной — капитан речного буксира. Знаете, такие ободранные буксиришки с низким задом и откидной трубой, которые в летние дни ползают водяными жуками по Неве, Фонтанке и Мойке, таская баржи с дровами, песком и ладожскими гончарными изделиями. Жизнь на них тихая и ленивая, как послеобеденный сон. Степан Акимович тоже был тихий, хотя в юности прожил бурно. Двадцатидвухлетним матросенком угодил с крейсера «Олег» в шестилетнюю каторгу за расклеивание прокламаций. С каторги бежал. Переправился на Аляску. Искал золото, держал ездовых собак. В революцию вернулся домой, плавал на Волжской флотилии, командовал в Астрахани баржой-батареей и на двенадцатифутовом рейде расхаживал, один на один, белый крейсер «Крюгер». Но, по пристрастию к градусным напиткам, дальше не пошел. Вышел в запас, попал на речное пароходство и жил на своем буксире «Текстильщик».

Но, помимо питейной страсти, была у Степана Акимовича и другая, благодарная и возвышенная — спорт. Особенно обожал он плаванье и теннис. На всесоюзных соревнованиях на трибуне обязательно красовалось его мясистое лицо и моржовые усы.

Болел он пламенно и яростно. С необычным пылом и темпераментом. Вскакивал с места,

хватался за голову, выкрикивал, подбадривал состязающихся одобрительными возгласами или свирепо поносил проигрывающих фаворитов. Иногда публика больше смотрела на Степана Акимовича, чем на участников соревнования, и на трибунах вспыхивал бурный хохот, когда Барсуков с искаженным лицом срывал с лысины фуражку и рыча тигром, скреб свою голову. В приезд прославленного Коше Степан Акимович так бушевал, что жизнерадостный француз сам до того развеселился, заметив неистового болельщика, что пришлось прервать игру. Понадобилось усадить рядом с Барсуковым двух теннисистов, которые удерживали его порывы.

Но никто и никогда на него не сердился. Была в этом помятом старом человеке обаятельная искренность страсти, и, если на большом соревновании Степана Акимовича не было, спортсмены тревожились — уж не дали ли старик дуба.

Увидев Степана Акимовича на мостике «Героя», я обрадовался ему, как родному. В горькой обстановке отступления он напомнил мне ясные дни мирной жизни, и от одного его вида мне стало легче. Я махнул ему рукой и крикнул:

— Степан Акимыч! Эге! Вот на каком соревновании пришлось встретиться. — Но на мое приветствие Барсуков сварливо прохрипел:

— Товарищ интендант второго ранга, слышали приказание привести палубу в порядок? Так не стойте столбом. И обращайтесь по уставу. Я вам не Степан Акимыч!

Он явно умышленно вынес за поручни мостика руку в синем рукаве с нашивками старшего лейтенанта.

Я был жестоко обижен таким ответом на мой порыв. Я повернулся спиной к Барсукову и принял участие в планомерном размещении на палубе груды имущества. Потом я присел у борта на чей-то чемодан, вынул из кармана кителя «Сигнал бедствия» Роже Верселя, захваченный из библиотеки базового клуба, и погрузился в чтение. Мерно постукивала дряхлая машина «Героя». Транспорт вышел в море и полз к востоку вдоль низкого песчаного взморья, поросшего соснами и усеянного дачными домиками. Вечер был тихий и дымный. Море отражало зеленовато-льдистое небо наступающей белой ночи. Я отложил книгу. Досада на Барсукова не оставляла меня. Я со злостью подумал, что стоило человеку стать начальством даже на такой дрянной посудине, как «Герой», чтобы он сразу начал показывать свои худшие качества.

Среди этих раздумий ко мне подошел краснофлотец в брезентовом рабочем и, козырнув, сказал:

— Товарищ интендант второго ранга, коман-

дир корабля приказал вам прийти к нему на мостик.

В раздражении я хотел ответить, что если командиру корабля нужно меня видеть, то пусть придет сам ко мне, но долг дисциплины преодолел злость, и я направился на мостик. При моем появлении Степан Акимович подошел ко мне быстрыми мелкими шажками, протягивая руку. Под серыми усами его цвела радушная улыбка.

— Вы не сердитесь, что я вас огрел, — сказал он добродушно, — сами понимаете, публика у меня сбродная набралась. Если не поддерживать командирский авторитет — сумасшедший дом будет.

В глазах Степана Акимовича было такое искреннее сожаление, что я сердечно пожал его большую заскорузлую ладонь.

— Да, — продолжал он, — вот уж не думал здесь вас увидеть. Плохо, знаете. Лоханка моя чуть на воде держится, днище ржавое, как решето. Все вооружение — вот эта трещалка, — он презрительно пнул ногой тумбу установленного на мостике пулемета, — а народу гибель. Одних женщин больше полсотни. И за всех я в ответе. Обязан доставить благополучно... Ну, а если налетят?

Он с тревогой заглянул мне в глаза.

— Ну, может быть, и не налетят. Зачем налетать на такую консервную коробку? Немцы

сейчас заняты целями покрупнее, — ответил я, подумав о вышедшем за несколько часов до нас большом караване.

— Так-то так, а все же беспокойно... Хотите чайку выпить? У меня в рубке чайничек готов.

Я охотно согласился. Степан Акимович ввел меня в тесную рубку, налил чашку чаю и придвинул вазочку с вареньем.

— Угощайтесь!

Он присел против меня, положив руки на стол и покачивая головой.

— Эх, какое время пришло... А помните в запрошлом году Новиков как играл. Смертельные удары. Особенно левый драйв... А Чистов садится... Как я и предсказывал — ничего не вышло. Фитюлька.

И Степан Акимович забыл о своем командирском беспокойстве. Он вытаскивал из своей спортивной памяти знаменитые эпизоды соревнований, спортивные анекдоты, вспоминал заплывы Алешиной, Китаева, Остен-Сакена. Многого я даже не мог припомнить, а Степан Акимович все больше горячился. Он даже начал подпрыгивать, как некогда в азарте на трибунах.

Но воспоминания были прерваны появлением старшины.

— Товарищ старший лейтенант, — доложил старшина, — с севера самолеты!

Степан Акимович вскинулся. Нахлобучив фуражку, он выскочил на мостик. За ним выбежал и я. На палубе звучал сигнал воздушной тревоги. Пулеметчик развернул единственный пулемет «Героя» навстречу самолетам. Внизу разрастался взволнованный говор. Люди потянулись к правому борту, смотря в небо. Степан Акимович подскочил к обвесу.

— Разговорчики прекратить! От борта долой! Оставаться на местах и не трогаться без приказания.

Его хриплый голос неожиданно окреп и зазвенел. И сам он как будто сразу стал выше и плотнее. Я подумал, что таким, наверно, был Барсуков в молодости, когда раскатывал под Астраханью белогвардейский крейсер. Взглянув на север, я увидел на бледном небе чуть заметные силуэты трех самолетов. Я узнал в них бомбардировщики «Юнкерс-88». Хрипящий вой их моторов усиливался. Они начали разворачиваться влево, заходя на боевой курс.

— Берут в работу, — обронил Степан Акимович, снижая голос. — Ну, что я могу с ними поделать. Все равно, что в слона мышиной крупой кидать.

Головной «Юнкерс» вырвался вперед, на мгновение замер в воздухе и, опустив нос, ринулся вниз. Над моим ухом застучал пулемет. Одна... две... три очереди. Бомбардиров-

шик падал на беззащитный транспорт, нависая над палубой. Сверкнули, отделясь от него, две искры. Самолет вышел из пике и круто пошел кверху. И сейчас же с глухим воем бомбы взрыли море на курсе «Героя» метрах в двухстах от его носа. Ухнули удары разрывов, вскинув высокие столбы грязно-серой воды.

— Ошибка! — крикнул бодрый голос. — Пятнадцать—ноль в нашу пользу.

Степан Акимович, прищурясь, блестящими глазами следил за уносящимся самолетом. Тревоги уже не было на его лице, он был захвачен азартом риска. Снова застучал пулемет. Второй «Юнкерс» обрушился на «Героя». Мостик сильно тряхнуло, я едва удержался на ногах. Заныли осколки. Один с треском ударил в стену рубки. Мимо борта «Героя» проплыли назад два вспененных круглых пятна на воде, следы падений. Пулемет безостановочно бил по самолету.

— Мажут! — закричал Степан Акимович. — Ей-богу мажут... Прекратить огонь! Не трать патроны! Пригодятся на третьего.

Третий немец прошел над нами, словно разглядывая и принюхиваясь. Он далеко обогнал нас, свиражировал и пошел навстречу.

На мостик взлетел краснофлотец.

— Товарищ старший лейтенант! Которые гражданки в каютах боятся. Кричат, чтоб на палубу выпустить.

— Не выпускать! — отрезал Степан Акимович, не сводя глаз с несущегося навстречу самолета. Он повис над нами и упал стрелой. Треск пулемета захлебнулся в оглушительном громе. Вода встала пред глазами мутной пенистой стеной и обвалилась на мостик, будто сразу опрокинули сотню сорокаведерных бочек. Все затрещало и зашаталось. Я перестал видеть от едкой боли в глазах. Когда я протер их, все вокруг было мокро. Вода с шипеньем катилась по мостику. Степан Акимович ловил уносимую водой фуражку. На палубе кричали. Зазвонил машинный телеграф. Степан Акимович вырвал пробку из трубки. Лицо его стало серым. Он выпрямился.

— Днище кочегарки вырвало. Ясно! Сплошная ржавчина. Заливает машинное, каюк, — тихо сказал он на мой вопросительный взгляд и тотчас же побежал к обвесу, на ходу вытаскивая из кобуры наган.

— Кончить галдеж! Смирно, без шевеленья! Кто нарушит порядок — рискует неприятностью! — И он в подтверждение постучал дулом нагана по поручню.

Крики смолкли. Степан Акимович повернулся к старшине.

— Выводить женщин, сажать в шлюпки! Полный порядок! Шлюпки на воду!

Я подошел к заднему обвесу. Палуба мостика чуть заметно стала крениться вправо.

Возле узкой двери полуюта стояли двое краснофлотцев с винтовками. Женщины выходили из двери поодиночке, тихие, с расширенными глазами, судорожно прижимая к груди сумочки и детей. Стоя против дверей, старшина рукой указывал им направление направо и налево. Краснофлотцы помогали им взбираться на планширь и оттуда в шлюпки. Посадка шла быстро, без суетни и шума. Заскрипели блоки талей. Две старых шлюпки «Героя» поползли на воду. Транспорт медленно оседал.

— Товарищ старший лейтенант! — закричал старшина. — Шлюпки на воде!

— Отваливать! — приказал Степан Акимович и пошел к переднему обвесу. Я последовал за ним. На палубе в угрюмом молчании стояли мужчины. Их было много. Они инстинктивно сжались в центре корабля и пристально смотрели на тихую поверхность моря.

— Кто не умеет плавать, подымите руки, — негромко, но ясно сказал Степан Акимович.

В ответ поднялось с полсотни рук. Люди смотрели на командира.

— Не умеющим плавать подойти к борту, построиться в шеренгу. Остальным стоять на местах. Сейчас будут розданы пояса и круги.

Люди молча выполнили приказ. У борта застыла живая цепочка. Краснофлотцы торопливо раздавали круги и пояса.

— Тронм нехватает, товарищ старший лейтенант.

Степан Акимович кинулся в рубку и, вытащив оттуда три буйка, сбросил их на палубу.

— Слушать меня!

Барсуков вскарабкался на поручни. По щекам его стекали крупные капли пота, хотя вечер был прохладный.

— А ну, товарищи, веселей глядеть. Непредвиденное соревнование по плаванью на большую дистанцию. Прыгать в воду по моей команде. Плыть к острову, — и Степан Акимович указал на сереющее вдали плоское пятно. — Первая шеренга на борт!

Планширь оброс людьми. Они балансировали на нем, стараясь удержать равновесие, хватаясь за ванты и друг за друга. Степан Акимович поднял наган.

— Приготовиться... Раз. Два. Три.

Ударил выстрел. Вода за бортом зашумела и заплескалась. В ней зачернели головы пловцов.

— Ровнее плыть, не спешить. Держать правильное дыхание. Не болтать попусту руками! — командовал Барсуков. Он был очень возбужден. Он неожиданно почувствовал себя прежним Степаном Акимовичем, неистовым болельщиком. Вероятно, в эту минуту он даже забыл, что ему самому угрожает гибель.

— Отплывать! Не вертеться под бортом.

Освобождайте место! Остальным строиться в ряды, — кричал Степан Акимович.

Беспорядочная куча на палубе зашевелилась, разделилась на отчетливые ряды.

— Тихо! — скомандовал Барсуков. — Первый ряд на борт!

Он оглянулся и, как будто впервые, заметил меня.

— Идите на палубу, становитесь в ряд.

— Да я с вами, Степан Акимович, — попробовал возразить я, но Барсуков сердито сверкнул глазками:

— Исполнять приказание. Прошу вниз! — и он широким жестом указал на трап.

Я подчинился. Ряд за рядом население «Героя» покидало транспорт по команде Барсукова. Я сбросил ботинки и китель, чтобы легче плыть, и очутился в воде с последней партией. Вынырнув, я удивился, как низко сидит в воде «Герой». Только узенькая полоска его борта возвышалась над морем. Я взглянул на мостик. Там одиноко стоял Степан Акимович, и я услышал его напутственные слова:

— Не сбиваться в кучу. Друг друга перетопите. Расплывайтесь пошире! Не надрываться! Время не играет роли...

Казалось, что он наслаждался ролью судьи этого необычайного заплыва, организованного им, этой борьбой за спасение доверенных ему человеческих жизней.

Я приподнялся над водой, помахал рукой и закричал:

— Степан Акимыч! Заплывайте в голову! Ведите команду!

Он услыхал мой оклик и, сняв мокрую фуражку, торжественно приподнял ее над головой. Набежала волна, хлестнув мне в рот и ноздри. Когда я отплевался и взглянул на «Героя», его мачты стремительно валились набок. Еще мгновение, и вода с гулом сомкнулась над ним.

Спустя три часа я выполз на песчаный пляж острова. Краснофлотцы батареи радушно принимали необычных гостей. Обе шлюпки, давно высадив женщин, подбирали теперь отсталых и выбивающихся из сил. До утра мы просидели на берегу, поджидая последних пловцов. Утром произвели подсчет. Не досчитались шестерых.

Впрочем, нет, не шестерых, а семерых. Седьмым был Степан Акимович Барсуков.

Эволюция философии

Баркас вышел в море из Стрелецкой бухты после полуночи. Это был обычный большой баркас линейного корабля, тяжелый, пузатый, выносливый на качке, выкрашенный в шаровый цвет. Но его корабельные знаки на носу

и обрубленной корме—темнокрасные ромбы на белом поле—были закрашены той же шаровой краской, и поверх них были тщательно выписаны белилами две буквы и цифра «17».

Барказ уже не принадлежал никакому кораблю. Он входил самостоятельной единицей в состав отряда минных заградителей и вел независимую жизнь отдельного корабля.

Он имел собственный экипаж из одиннадцати краснофлотцев и свой мотор, одержимый дурной привычкой дымить и вонять на весь рейд едким перегаром нефти. Среди одиннадцати краснофлотцев были, как на всяком боевом корабле, специалисты разных частей—минеры, электрики, мотористы, рулевые, сигнальщики. А возглавлял их двадцатитрехлетний старшина первой статьи Миша Лонкевич.

Насколько барказ был громоздок, грузен и прочен, настолько его командир казался хрупким и даже слабым. Молодая поджарость еще не отяжелевшего годами тела, высокий рост, тонкая в перехвате фигура и бархатистая смуглорозовая кожа лица делали его похожим на шестнадцатилетнего подростка. Из-под крылатых разлетающихся бровей смотрели на мир теплые оленьи глаза, всегда удивленно мечтательные. Было непримиримое противоречие в тяжелом неповоротливом барказе и в этом тонком с летящей походкой юноше.

Миша Лонкевич пришел на флот с универ-

ситетской скамьи, окончив философское отделение филологического факультета. По окончании флотской службы он собирался вернуться в университет для научной работы. И на службе он неотступно отдавал свободное время работе над будущей кандидатской диссертацией, темой которой избрал эволюцию германской философской мысли от XVIII до XX века.

Можно было предположить, что молодой человек, погруженный в течение пяти лет в сложность умозрительных построений Канта, Гегеля и Лейбница, вряд ли сможет легко освоить практику обращения с якорными цепями, талями, двойными штыками и удавками.

Но, к общему удивлению, Миша с первых дней службы обнаружил задатки прирожденного лихого «марсофлота». Была в нем, непонятно откуда, настоящая морская жилка. Он сразу сдружился с морем, как просоленный ветрами всех румбов старый боцман. Казалось, море приветливо раскрыло ему свои объятья. Он схватывал флотскую науку на лету, и командиры ставили его в пример молодым краснофлотцам. Сам Миша простодушно удивлялся своей неожиданной морской душе и в шутку говорил, что ему придется, пожалуй, всерьез подумать о перемене жизненного пути. Может быть, лучше стать знаменитым флотоводцем — Нельсоном или Ушако-

вым, чем провести жизнь, лысея за письменным столом над тайнами философии.

За первый год службы Миша стал передовиком минного дела. Это принесло ему звание старшины, командирскую власть и авторитет в пределах этого первого по пути к славе Ушакова этапа морской карьеры.

Одиннадцать человек команды барказа очень ценили своего командира и беспрекословно подчинялись ему во всех служебных обстоятельствах.

И медвежеватый помор, архангелец Вася Кухтин, «старший инженер-механик» баркасного болиндера, и минер Леша Баев, несравненный хавбек сборной Черноморского флота, и рулевой Петро Деревяго, до службы знаменитый шахтер, награжденный за рекордные отвалы лавы, но скромный, как школьница первой ступени, и сам немного боящийся своих рук, которые были способны отодрать лапу у адмиралтейского якоря, и все остальные относились к Мише Лонкевичу с любовью и даже некоторым обожанием за его ученость. Миша мог ответить на любой вопрос и объяснить все на свете так понятно, что становилось легче жить. А такой человек накрепко привязывает к себе.

Словом, команда барказа была спаянная и на редкость дружная.

Единственным темным пятном в ее безоб-

лачной жизни были воскресные лекции Миши по истории философии. Миша решил, что его друзья будут рады ознакомиться с историей развития человеческой мысли. На его предложение одиннадцать ответили единодушным согласием. Но по педагогической неопытности Миша излагал философские системы тем же языком, которым привык дискутировать с коллегами в университетских семинарах, оперируя всей сложностью отвлеченных философских категорий с небрежной ловкостью опытного парикмахера, орудующего бритвой. Слушатели таращили слипающиеся глаза. Петро Деревяго защипывал себе синяки на лыжках, стараясь не заснуть и разобраться в философских туманностях. При этом он вздыхал так, что в кубрике базы, как от ливня, вздымались развешенные по стенкам флаги размежевания. Но ни один из друзей не решался обидеть «профессора» признанием в своем невежестве и неподготовленности. Ребята терпеливо несли казнь и только после лекционного часа накуривались с горя до тошноты. А Миша, не замечая ничего, старательно готовился всю неделю к следующей лекции.

Даже в эти горячие военные дни он урывал время для просветительной деятельности, хотя отряд минзага работал без сна и отдыха.

В эту ночь барказ шел на норд, в район мыса Лукулл, нагруженный двадцатью минами

типа «рыбка». Воздушная разведка установила, что немецкие подводные лодки облюбовали уютное местечко на отмели для ночевки, где они стерегли выходной фарватер, чтобы немедленно после прохода тралящего каравана снова набросать на пути кораблей гремучие шары. По заданию командования барказ должен был поставить там минную банку и испортить немцам подводную перину.

Постановка должна была быть внезапной и скрытной. Большой минзаг мог бы быть легко замечен, барказ же имел все шансы провести операцию под сурдинку. А для малых подводных лодок и «рыбки» были достаточно крепким угощением.

Как только барказ покинул бухту, открытое море встретило его свежими порывами норд-веста. Вода, похожая на разлитую тушь, глухо шумела за бортом. Смутные белые пятна барашков вскипали на ней, расплываясь в темноте. Темнота владела морем и миром. Хотя Миша Лонкевич знал, что совсем недалеко справа родной берег, он ничего не мог разглядеть во тьме. Ночь нависала беззвездная, непроглядная, давила тишиной. Казалось, во всем мире умерли звуки, кроме равномерного шороха бесконечной, плотной водной массы, окружающей барказ, да четкого постукивания мотора. Накрытые брезентом «рыбки» горой высились посреди барказа.

Волна била в скулу слева, иногда окатывая барказ тяжелыми, едкими брызгами. Петро Деревяго твердо держался на курсе. На груди у него висел аккумуляторный фонарик, заклеенный черной фотографической бумагой с проколотым в ней отверстием. Тонкий, как игла, луч света падал на компас. Вася Кухтин сидел на корточках у мотора, прислушиваясь к его бормотанию. Остальные тесной кучкой жались на дне возле мин, накрыв головы краем брезента, и тихо разговаривали.

Неутомимый рассказчик Леша Баев вполголоса расписывал прелести охоты с лайкой в барнаульской тайге.

Миша Лонкевич, подняв воротник шинели,—апрельская ночь дышала в лицо колким, пронизывающим холодком, — горбился на складной разножке рядом с Петро, всматривался в непроницаемую чернильно-синюю зги перед форштевнем барказа и думал. Мысли его вращались в сфере философии. Он вспоминал вчерашний разговор с друзьями на берегу, после лекции. Он читал ее во время отдыха тут же на побережье бухты, у барказа, который готовили к походу. И в этот раз команда минзага «17» слушала его с необычным вниманием. Краснофлотцы сидели в кружок на камнях, облизанных вековыми касаниями волн. Прозрачная зеленая вода шипела и пузырилась между водорослями.

Миша рассказывал друзьям о расцвете идеалистической философии начала XIX века, о жарком, неустанном искании мировой правды и смысла бытия, которые озаряли эти годы. Он говорил о Фихте и Шеллинге, о ярких факелах вольнолюбивой человеческой мысли, которые будили и тревожили всех мыслящих людей века. Миша старался объяснить товарищам жадное восприятие в пробуждающейся России учения немецких философов, зарождение кружков Станкевича и московских «любомудров», где крепли первые ростки русской гражданственности и борьбы с чугунным угаром самодержавия.

Ближе других к Мише сидел Вася Кухтин, положив локти на колени и низко нагнув крупную голову, покрытую бескозыркой, из-под которой выбивались соломенного цвета поморские вихры. Кухтин вертел в пальцах поднятую с земли плоскую ракушечку, которую дети называют лодочкой.

Когда Миша кончил лекцию, Кухтин поднял голову, и Лонкевич увидел на его широком молодом лбу морщину напряженного раздумья. Миша спросил тоном доцента, готового разъяснить недоумение слушателя:

— Ты, кажется, что-то хочешь спросить, товарищ Кухтин?

Вася вздохнул и стиснул пальцами ракушку так, что она хрустнула и рассыпалась пылью. Взглянул в глаза Мише и глухо сказал:

— Прошу, товарищ лектор, объяснить (в часы дружеских шуток и забав одиннадцать называли своего командира по имени, но по службе и во время лекций именовали его по званию или «товарищем лектором»)... прошу объяснить, как все-таки могло такое получиться? По вашему докладу выходит, что в то время немцы были люди как люди, и даже впереди других народов шли и, так сказать, оказывали пользу прочим народам в смысле просвещения и свободы. С чего же это произошло, что в текущий момент, при Гитлере, немцы не то, что не люди, а даже совсем бешеные суки стали? Как вы раньше доказывали— человек непрестанно развивается к лучшему, а тут все наоборот развернулось...

Хмурый взгляд Кухтина, уставленный на лицо Лонкевича, настойчиво ждал ответа. И по тому, как молчали остальные, Миша понял, что вопрос тронул всех за живое и они хотят услышать понятную правду.

И Миша вдруг смешался перед обнаженной и требовательной простотой вопроса.

— Понимаете ли, ребята, — заговорил он, стараясь найти точные и простые слова, — дело в том, что закон исторической эволюции идей не предусматривает обязательно прогрессивного роста идеи, иначе говоря, ее углубления и улучшения. Эволюция может итти и обратным путем, путем регресса, путем возвра-

щения к своим примитивным истокам. Это обусловливается социальными предпосылками и категориями. Молодой, прогрессирующий класс движет общественную идею вперед. Когда этот класс начинает хиреть, распадаться и умирать, он, стремясь удержаться, бросается на путь регресса, отравляет ядом своего разложения мысль эпохи, отбрасывает ее в глубь веков, к самым глухим временам звериного закона... Понятно я говорю? — перебил Миша сам себя, чувствуя, что слова пришли не те, каких хотели и ждали от него друзья.

Одиннадцать угрюмо молчали, видимо ошеломленные сложностью мишиных построений. Он хотел повторить сказанное проще и яснее, но внезапно его прервал минер Федя Гарматный.

— Усё понятно, — сердито произнес он, мотнув чубиком, — как есть усё. Так шо выходить, Миша, шо ты дарма тратив свое молоде життя на таку дерьмову науку, яка тольки и робить, шо мотается узад-уперед.

— Ну, почему дерьмовая? — озадаченно спросил Миша.

— А так, — отрубил Гарматный и, прищурясь, добавил: — А кажы мени, будь ласка, оця твоя хвилософия у других народов тоже так ерзае? От к примеру хранцузы или англичане, воны тоже так взад поперлись, до зверюк допхалы? Як я розумию, то воны до фашизму не дуже охоту мають?

— В целом, конечно, нет,— растерянно ответил Миша,— но фашистская идеология возникала у реакционных группировок и в других странах. Предатели французского народа...

— Погодь... погодь, — опять остановил его Гарматный. — Выходит так, що у других наций до фашизму мають склонность тильки зрадники, предатели, а як що до немцив, то в их чуть що не уся нация фашисты... И з того такая у мене думка, що по всей земли одни лише нимци человичью мысль назад до звирюги пихають. А раз так, — то бей нимця до корня и на том точка! Больше мени философии не треба! Годи!

Миша беспомощно улыбнулся. Но одиннадцать реагировали на слова товарища безулыбочно, и Лонкевич увидел, как их молодые лица потемнели и в глазах замелькали искорки ненавидящего, непрощающего гнева.

И теперь, смотря в темноту, где белесыми призраками возникали, шумя и рассыпаясь, гребни волн, — Миша неотступно думал об этих словах Феди Гарматного Они завладели мишиным сознанием. «Почему, — думал он с возрастающей тревожной досадой, — почему же только в Германии чудовищный регресс общественной идеи докатился до расистского скотства, которое отравило и захлестнуло целое поколение народа, низведя его на уровень доисторической рептилии, все бытие которой

сводилось к двум побуждениям: — жрать и убивать?» Это было страшно. От Шеллинга до Ницше и от Ницше до Розенберга! Падение, которое не поддавалось никаким законам. Федя Гарматный поставил перед Мишей внезапный и огромный вопрос, который сам по себе мог стать темой для диссертации.

Волна хлестнула в борт баркаса, обдав липнущими брызгами лицо старшины.

Он нагнулся и, прикрывая полой шинели фонарик, взглянул на часы. По времени баркас подходил к точке постановки. Миша оглядел и приказал снять брезент с мин. Деревяго по приказу командира положил руля, выродя баркас на курс постановки. Миша шагнул вперед, туда, где Гарматный и второй минер Лыжин уже положили первую «рыбку» на выдвинутый за борт дощатый скат.

Миша еще раз посмотрел на часы и скомандовал:

— Первая!

Коническое тело мины скользнуло за борт, взметнув пену.

Миша отсчитывал про себя, стараясь сохранять равные промежутки:

— Вторая... третья...

Мины уходили в глубину, вытягиваясь там в зеленоватом холодном мраке смертельной цепочкой. Последняя, двадцатая, нырнула с гулким бульканьем, и Миша Лонкевич облег-

чено вздохнул. Работа с минами приятна только тогда, когда она благополучно заканчивается. Миша вернулся на свое командирское место и сказал Деревяго:

— Пошли домой! Ворочать на курс 165.

— Есть ворочать на курс 165, — и Деревяго завертел миниатюрный штурвал. Баркас накренился. Беловатая струя за кормой выгнулась дугой. И сейчас же Миша услыхал, как ровный до сих пор стук мотора заклокотал перебоями, все реже, реже и, наконец, заглох. Миша вскочил и сунулся к дверке капота, но уже оттуда навстречу ему высунулась голова Кухтика

— Вал не проворачивается, товарищ старшина, — взволнованно доложил Кухтин, — не иначе, как намотало.

Баркас стоял на месте, медленно раскачиваясь. Теперь ясно был слышен тяжелый стихийный шорох воды. Миша пролез на корму, перегнулся и посветил фонариком. Всплеск волны ударил корму, и Лонкевич увидел винт, туго обмотанный петлями толстого троса. Непонятно было, откуда тут взялся этот трос. Может быть, вражеская подводная лодка поставила какой-нибудь буек, может быть, плавал обломок рангоута с тросом, занесенный волнами чорт знает откуда. Лонкевич поморщился. До рассвета оставались считанные минуты, нужно было убираться затемно из этого

места, чтобы не видеть буксировку. Об опасности для барказа и людей Миша не думал еще. Главное было в том, чтобы противник не раскрыл приготовленного сюрприза.

— Баев... Гарматный! Очистить винт! — приказал Миша.

Оба друга пролезли на корму. Там Леша Баев повис над водой, а Гарматный придерживал его за ноги. Волна била в корму и поминутно накрывала Баева. Он отфыркивался, набирал воздух и снова свисал над винтом, стараясь размотать трос.

— Не выйдет, — сказал он, поднимаясь. — Затянуло так, что концов не видать. Разрешите нойти в воду!

Миша Лонкевич зябко поежился. Купанье в апреле было сомнительным удовольствием. Температура воды не превышала шести градусов. Но другого решения не находилось, и Миша позволил.

Баев скинул бушлат, форменку, сапоги, обвязался концом.

— Держи ладней! — кинул он Гарматному и, уцепясь за кромку кормы, перекинул тело за борт.

Лонкевич слышал, как он отплевывался и тихо ругался при каждом ударе волны. Старшина все нетерпеливее взглядывал на часы. Время шло. По носу барказа в черном небе расплывалась блеклая муть. Под ней ясно вы-

ступила темная полоска берега. Наплывал рассвет.

— Поскорее,—поторопил Миша, нагибаясь

— Завертело в три погибели, — раздраженно откликнулся Баев, стуча зубами. — Без зубила ни черта не сделаешь... Зубило давай! — крикнул он Гарматному.

Миша различал уже в темноте лицо товарища. И видел, как трясутся губы на этом белом в окружении черной воды лице.

— Баеву вылезть, итти греться в моторное... Гарматный в воду! — скомандовал Миша.

Кухтин притащил зубило и молоток. Баев накинул бушлат и, вздрагивая всем телом, ушел в тепло. Миша сам держал теперь конец, обвязанный вокруг пояса Гарматного. Молоток то звонко бил по зубилу, то заглухал, когда корма уходила в воду. А горизонт все светлел, и уже сквозь серую плесень на небе проступала нежная голубень. Наконец, Гарматный бросил в барказ зубило и молоток, подтянулся на руках и влез на корму.

— Есть, выпростал анафему.

Мотор заработал прежним ровным и чистым темпом. Барказ взял ход.

Вокруг него было еще темно, и можно было поделиться, что ни с берега ни с моря не заметят серую скорлупку, шарпающую среди серых волн. Но в небе становилось все светлее, и Лопатин с сомнением поглядывал наверх.

Самолет легко мог обнаружить светлое пятно барказа на свинцово-серой пустыне воды.

— Снять чехол! Пулемет к бою! — приказал Миша.

Пулеметчик Карпушин развернул пулемет, открыл коробку с лентами.

И едва вставил конец первой ленты в приемник, как головы всех быстро повернулись, задираясь кверху. [illegible], где-то в глубине этого прозрачного неба нарастало пчелиное тонкое гудение. Несомненно, шел самолет.

«Только бы не чужой», — подумал Лонкевич, стараясь проколоть взглядом редкое полотно тонких облаков, гонимых ветром к западу. Гудение усилилось, переходя в [illegible] с перебоями вой. И уже по звуку этого воя Миша понял, что самолет чужой, раньше чем увидел его. Самолет выскочил в прорыв между облаками, и одного взгляда было достаточно, чтобы узнать «Фокке-Вульф». Он, видимо, шел на утреннюю разведку крепости, заходя с моря.

«Заметит, не заметит?». Миша, не отдавая себе отчета, стиснул кулаки так, что ногти вдавились в мякоть ладоней, и усмехнулся бессмысленности этой непроизвольной физиологической реакции.

Самолет опять нырнул в облака, спустя секунду выскочил из них и вдруг пошел в кру-

той правый вираж, чертя в небе снижающуюся кривую.

Заметил!

Миша Лопкевич вытащил из-под брезента «личный» ручной пулемет и упер его ножки в крышу кают.

— Подвахтенной смене бить залповым огнем по противнику в момент пикирования! — скомандовал он своим друзьям, как заправский командир серьезного боевого корабля, и припулся к своему оружию.

Немец описывал крутые спирали над баркасом, будто примеряясь, как лучше нанести удар этой скорлупе, болтающейся под ним на волнах. Потом он резко взял в сторону и пошел на снижение. Миша понял, что он собирается расстреливать баркас с бреющего полета в лоб. Старшина сдвинул фуражку на затылок, и его полудетское лицо приобрело оттенок лихого ухарства. Немец выровнял машину в тридцати метрах над водой, развернулся и понесся на баркас.

— Огонь! — крикнул Миша и сам нажал гашетку.

Что-то затрещало и защелкало вокруг. Миша увидел, как, выронив винтовку и растопырив руки, ткнулся головой в борт Баев, как запрокинулся на носу Гарматный и лег на замок пулемета, словно защищая оружие своим

телом, Карпушка. Самолет с воем пронесся над барказом, и Миша проводил его тремя короткими очередями.

— Лыжин! Оказать помощь раненым! — крикнул он, и Лыжин, положив винтовку на банку, приподнял подмышки тело Баева и растерянно взглянул на командира. Из шеи Баева тугой струей хлестала кровь.

Но смотреть было некогда. Немец разворачивался на второй заход, и Миша ловил на мушку несущийся на него и быстро увеличивающийся силуэт самолета. Снова затрещало и защелкало. Лыжин свалился на Баева, Деревяго выпустил ручки штурвала и сполз вниз. Миша видел, как упали еще двое товарищей, и в ту же секунду что-то прожгло его грудь. Он хотел вздохнуть, но захлебнулся вздохом, закашлялся и с удивлением увидел вылетающую пузырями изо рта собственную кровь. Он хотел выплюнуть ее, она мешала дышать, но вдруг темная и жаркая пелена мгновенно окутала его голову, и он перестал видеть.

Когда он очнулся, барказ, никем не управляемый, беспомощно вертелся на зыби. Мотор стучал попрежнему ровно, но, когда Лонкевич, хрипя и отплевываясь, позвал Кухтина, из капота не последовало отклика. Превозмогая боль и головокружение, Миша заглянул в капот. Весь Кухтин сидел там, скорчась, и в бушлате, обтягивающем его мощную спину, в

трех местах выбилась клочьями окровавленная подкладка, там, где пули немца пробили сукно.

Миша осмотрелся. На барказе все было мертво. Под ногами хлюпала красная вода. Старшина вздрогнул и взглянул на море. Немец продолжал описывать круги около расстрелянного барказа. И Миша почувствовал, как все его тело твердеет от злобы и ненависти к этому убийце. И вот этот выродок с душой гиены и сердцем волка носится над русским морем, способный только на убийство, и осыпает свинцом русский барказ. Он уже убил его товарищей — Васю Кухтина, Лешу Баева, Петро Деревяго, Федю Гарматного и других. Он убил его самого — Мишу Лонкевича, двадцатитрехлетнего аспиранта философии, который хотел всю свою жизнь посвятить мирному знанию, истории роста человеческого духа.

Миша Лонкевич стиснул зубы в приступе внезапного и неукротимого бешенства. Он поднял голову и вдруг увидел в море два буруна пены, стремительно несшихся к его барказу. Он понял, что это идут ему на помощь торпедные катера из гавани. Очевидно, понял это и немец. И решил напоследок еще раз прошить расстрелянный барказ ливнем пуль. Почти касаясь гребней волн, немец пошел в последнюю атаку.

Миша не отрывался от приближающегося самолета, и его пересохшие, лишние от крови

губы свело страшной усмешкой ненависти и презрения.

— Эх, подлец фашистский, — пробормотал он и с усилием повернул на борт дуло пулемета.

Самолет, взревев, устремился на баркас. Опять посыпались щепки от бортов. Закусив губу, собрав последние силы, преодолевая муть в глазах, Миша Лопшевич поймал самолет на мушку. Пулемет затрясся. И уплывая в холодную пустоту, Миша успел увидеть как, не дотянув до берега, «Фокке-Вульф» задрал хвост и врезался в воду, подняв фонтан пены.

Торпедные катера вихрем подлетели к месту боя. Передний, замедлив ход, подвалил к баркасу. С его палубы запрыгали в баркас краснофлотцы. Второй катер помчал к точке падения самолета. Там, среди осколков разбитых плоскостей, покачивался вверх спиной, поддерживаемый вздутым комбинезоном, выбитый из сиденья ударом о воду летчик. Старшина катера, подцепив багром ворот комбинезона, выволок труп на палубу. Из виска немца сочилась кровь. Пуля Миши Лопшевича пробила ему голову.

Командир катера, молоденький лейтенант, вылез из рубки, присел на корточки, расстегнул застежку комбинезона и вытащил из внутреннего кармана личную книжку убитого. Он раскрыл ее и равнодушно прочел вписанное в нее имя: Иоганн-Вильгельм Шеллинг.

Лейтенант положил книжку в свой карман, пошарил еще в комбинезоне и, не найдя ничего больше, брезгливо отер мокрые пальцы. Подумал и на вопросительный взгляд старшины ответил, махнув рукой:

— За борт! Не тащить же эту падаль в гавань. Крабы тоже хотят жрать, — пусть попользуются.

Плеснула вода, и Фридрих-Вильгельм Шеклинг ушел на дно русского моря. Катера, взяв баркас на буксир, повернули в гавань. В кубрик первого катера перенесли еще живых и дышащих Петро Дорошенко, Лешу Баева и Карпушина. Остальных оставили на дне баркаса, и на груди Васи Кучкина покачивалась от толчков качки восково-белая, обескровленная голова Миши Ломакина. Облитое водой лицо старшины сохранило и в смерти выражение упрямой и непоколебимой ненависти.

Подвиг

Несчастье случилось в пять ноль-ноль.

Оно было записано в вахтенном журнале флагманского миноносца с неправдоподобной жестокой точностью: «5.00. «Стремительный» подорвался на минной банке на траверзе мыса Лонгрунд. По донесению командира — держится на плаву. [illegible]

Командир соединения приказал: «Стремительному» остаться на месте, остальным продолжать операцию».

Это было все, что занесла в журнал вздрагивающая от волнения рука вахтенного командира «Сурового». Вахтенный журнал не знает чувств и эмоций. Он отражает только факты.

Если же рассказать последовательно — дело было так.

За несколько минут до шести командир соединения капитан второго ранга Маглидзе приказал поднять сигнал: «поворот последовательно влево на 8 румбов». «Смелый» и «Стремительный», шедшие в кильватере за флагманом, отрепетовали сигнал. Цветные флажки резво затрепетали по ветру на ноках усов и слетели вниз. На «Суровом» одновременно с началом поворота взвился «исполнительный». Эсминец круто покатился влево. Отброшенная закосящейся кормой сердито зашипела и заплескалась пена.

Капитан второго ранга Маглидзе перешел на левое крыло мостика, наблюдая за выполнением поворота кораблями. «Смелый», идя в кормовой струе флагмана, точно повернул в том месте, где эта струя образовывала крутой изгиб бледно-зеленой пенистой от воздушных пузырьков воды. «Стремительный» с разбегу [illegible] и Маглидзе нахмурился. Он не любил неточности в эволюциях

ся. В море каждое движение корабля и человека должно быть выверено до миллиона.

«Резвится, как рысак,— с неодобрением подумал он о командире «Стремительного». — А зачем резвится? Море — не ипподром и...»

Но не успел додумать. Из-под форштевня «Стремительного» упругим белым столбом рванулась кверху вода. Столб этот вспух у основания кипящим кубом.

Сквозь него взвилось желтое пламя, выбросив второй столб, уже черный от дыма. Он заволок весь корабль, и тотчас же в уши стоящих на мостике «Сурового» ударило плотным раскатом взрыва.

Штурман, подскочив к переднему обвесу, заметил, как судорожно скрючились пальцы командира соединения на поручнях мостика и как посинели ногти на этих стиснутых пальцах.

Туча воды и дыма опадала с шуршанием и плеском. Из нее медленно выползал корпус «Стремительного». Его носовая часть была оторвана до мостика. Отделенный от корабля полубак быстро уходил в клокочущий водоворот. Изогнутый взрывом гюйсшток продержался еще секунду над водой. Потом и его захлестнула волна.

«Стремительный» вышел из дыма весь и стоял с небольшим диферентом на нос. «Суровый» и «Смелый», убавив ход, держались на последнем курсе. С них хорошо был виден

...кловерхний мостик «Стремительного». По завернутому в железный рулон настилу палубы под мостиком карабкалась чья-то фигура.

— Разрешите застопорить и спустить шлюпки? — неестественно громко и, от волнения пропустив титулование, спросил у Магидзе командир «Сурового» капитан-лейтенант Голиков, не отрывая взгляда от подорванного эсминца.

— Не разрешаю!

Магидзе резко сбросил руки со стола, как будто обжегся о раскаленный металл, и повернулся к командиру эсминца.

— Удивляюсь, товарищ капитан-лейтенант! Вы не первый год на службе и должны бы знать боевые инструкции.

Капитан-лейтенант Голиков покраснел. Боевые инструкции он помнил назубок и знал, что они запрещают в такой обстановке задерживаться и спускать шлюпки для помощи подорванному кораблю, следующему в составе соединения. Это был суровый, проверенный закон новой морской войны, который навсегда отменил жертвенную традицию прошлого. Этот кодекс благородного самопожертвования был опорочен во всех флотах с того сентябрьского дня четырнадцатого года, когда подводная лодка Отто Веддигена тремя последовательными атаками отправила на дно три британских крейсера. Крейсеры неподвижно стояли на ме-

ет и спасали людей с подорванного первым «Хота». И один за другим разделили его судьбу.

Капитан-лейтенант Голиков теоретически понимал всю целесообразность суровой инструкции, но сейчас, перед лицом гибели товарища, он на мгновение усомнился в ней. Замечание командира соединения вернуло ему ясность мысли. Лучше потерять один корабль, чем три. Дело сводилось к механической арифметике.

— Запросите «Стремительный» о повреждениях и сумеет ли он держаться? — приказал Мгалидзе.

Старший сигнальщик с необыкновенной быстротой отмахал флажками вопрос. Ответ на мостике «Сурового» читали все, с тоскливым напряжением, по буквам, беззвучно шевеля губами.

— О-т-о-р-в-а-н полубак... Переборка первой кочегарки надломлена. Течь незначительная... полагаю возможным удержаться на плаву своими средствами.

Сдвинутые брови командира соединения разошлись.

— Отлично! — сказал он. — Передайте «приказываю оставаться на месте, ожидать возвращения отряда».

— Есть!

Голиков поглядел в сторону «Стремительного». Изуродованный корабль тихо покачивался на пологой зыби. Голиков подумал о ко-

мандире «Стремительного» Васе Калинине, о незабвенных годах морского училища и тихо вздохнул. Скучно сидеть в одиночестве, среди пустого моря, на искалеченном корабле, ожидая, что любая забредшая в район происшествия вражеская подводная лодка окончательно может отправить тебя на кормежку ракам. Надо же попытаться хоть что-нибудь сделать для облегчения этой пытки друга.

— Товарищ капитан второго ранга, — нерешительно предложил Голиков, — может быть, радировать базе, чтобы выслали поддержку?

— Не разрешаю, — вторично отрезал Маглидзе. — Операция продолжается. Натрещим в эфире, немцы запеленгуют, и получится линкния хурда-мурда. А нам нужно ставить заграждение. Это основная наша задача. Забыли, чем мы нагружены? Повезло «Стремительному», что напоролся носом. А если бы кормой?.. Ну, так пусть поскучает.

Капитан-лейтенант Голиков сразу вспомнил о грузе и ощутил противный холодок, иголочками проползший под кителем. На корме «Стремительного», как и на других эсминцах, стояли на рельсах готовые к сбросу мины. Если бы они рванули от детонации...

Голиков поежился и в раздумье тряхнул головой.

«Впрочем, погода тихая, неприятельские под-

лодки здесь особенно не разгуляются — мелководье. А мы больше трех часов не провозимся, так что успеем вернуться и подать Васе кончик, если он продержится... А если нет? Если сдаст переборка? Шлюпка, наверно, искалечена взрывом, придется плавать с поясами и капкой. Но долго ли проплаваешь?»

Голиков сердито отвернулся от уменьшающегося силуэта покидаемого эсминца. Больно покидать товарища в беде, но этого требует железная необходимость войны. Нужно делать свое дело. Нужно думать о своем корабле и своих людях.

— За секторами внимательно смотреть! — крикнул он наблюдателям, и те одновременно отозвались не веселыми, как всегда, а приглушенно серьезными голосами:

— Есть за секторами внимательно смотреть!

Голиков искоса взглянул на командира соединения. Тот стоял, посасывая трубку, немного грузный от возраста, сорокадвухлетний человек, с неподвижным лицом, на котором ничего нельзя было прочесть.

«Каменный характер, — внутренне возмутился Голиков. — Не волнуется даже».

Но он ошибался. Штурман, который подметил внезапную судорогу пальцев командира соединения в момент взрыва «Стремительного», мог бы сказать ему об этом.

Командир соединения волновался. И он с вчерашнего вечера, когда пришлось грузить мины не в оборудованной гавани, которая [illegible] [illegible] [illegible], а в глухой бухточке, где не было никаких приспособлений и мины втаскивали на палубы вручную, — это волнение не прекращалось ни на секунду. Командир соединения даже не вздремнул в эту тревожную белую ночь, в сумраке которой краснофлотцы, [illegible] от натуги, волокли на [illegible] угрюмые черные шары, начиненные гремучей смертью. Он волновался за этих трудолюбивых, как муравьи, молодых ребят, за свои корабли, за успех порученной операции. И несчастье со «Стремительным» еще больше взволновало его, прежде всего потому, что оно произошло с кораблем его любимца, самого лихого командира эсминца на всей Балтике. И еще потому, что оно ставило под угрозу результат похода. Вместо положенного количества мин приходилось теперь ставить на одну треть меньше, а это уже на треть уменьшало вероятность гибели неприятельских кораблей на заграждении. Командир соединения волновался за всех и только не за себя. О себе он привык не думать.

Он оглянулся на чуть видный за кормой силуэт «Стремительного».

Дрянной щенок! Прекрасный моряк, но чересчур самонадеян... Этому ли он, [illegible]

второго ранга Маглидзе, учил своих командиров... Вчера он радовался, что командир «Стремительного» первым закончил погрузку мин, намного обогнав остальных... А теперь!

Маглидзе шагнул к обвесу и свирепо выколотил пепел из трубки в отрезок снарядной гильзы, приспособленный под пепельницу.

*

Первым обнаружил врага наблюдатель левого борта старший краснофлотец Рудняк. Его голос прозвенел неожиданно резко в тишине мостика, нарушаемой только сухим шелестом вспарываемой эсминцем воды.

— Справа по носу, курсовой десять — дым!

Вытянутая рука Рудняка указала направление.

Маглидзе, Голиков и штурман разом вскинули бинокли. И в окулярах у всех троих обнаружилось одно и то же: палево-голубая, бледная полоска горизонта, дрожь нагретого воздуха над ней и в этих плывучих струйках еле заметное мутно-серое облачко.

Маглидзе опустил бинокль. Горбоносое лицо его с тяжелым подбородком — от загара оно превратилось в закопченную бронзу — еще больше затвердело и отяжелело.

— Боевую тревогу! — обронил он вбок, Голикову.

По корпусу корабля горячечным трепетом промчались звуки колоколов громкого боя.

Они еще бились и дребезжали, а уже, глуша их, по палубам и трапам раскатывался грохот каблуков. Расчеты орудий торопливо снимали брезенты со снарядов и пороховых картузов. Медные головки снарядов заблестели под солнцем. Орудия медленно и бесшумно развернулись на правый борт, задрав в синеву длинные стволы. Было похоже, что эсминец, как осторожный жук, высунул наружу чуткие усики и прощупывает ими воздух. На корабле стало тихо, как в поле перед грозой.

Флагманский артиллерист старший лейтенант Слинько, очень юный, с нежным яблочным румянцем, какой бывает только у девушек, подымался в башенку поста управления огнем, цепляясь рукой за перила скобчатого трапа. Наверху он задержался и посмотрел в бинокль.

— Вижу мачты, товарищ капитан второго ранга, — сказал он, не опуская бинокля.

— Сколько? — спросил Маглидзе.

— Две... высокие. Судя по типу мачт — вспомогательный крейсер. А сзади еще два дыма. Копеечные у них механики, товарищ капитан второго ранга, не могут без дыма ходить, коптят, как самовары.

— Ладно, — ответил Маглидзе, — займитесь делом.

Артиллерист нырнул в люк башенки. Маглидзе вглядывался в голубеющее марево горизонта.

Вот этот день! День большого и ответственного дела. Сколько он ждал его? Двадцать лет, со дня выпуска из училища и до этого вот солнечного июльского утра. Каждый год ему, Маглидзе, приходилось осенью смотреть на такие же вот дымки, на медленно встающие из-за горизонта мачты и корпуса, давать боевую тревогу, обдумывать сближение, определять курсы противника и свои, приказывать открывать огонь, маневрировать в бою.

Но всегда враг был только условностью игры. Орудия выбрасывали пламя и гром, но пламя и гром были безвредны, как бенгальский огонь на семейном празднике. И после боя враги мирно сидели рядом в салоне комфлота, попивая чай и обсуждая процент попаданий и вероятность гибели корабля. Самые неприятные результаты ошибок выражались только в выговорах и замечаниях комфлота.

Сейчас каждая ошибка грозила катастрофой сотням людей и кораблям. И это была уже не условная, а настоящая гибель с кровью и страданиями. И от него, командира соединения, теперь зависело, чтобы эта гибель обрушилась не на его, а на вражеские корабли. За каждой оплошностью стояла сумрачная тень смерти.

Незначительная оплошность командира «Стремительного», который проскочил из-за чрезмерной лихости на полкабельтова точку поворота, уже повлекла за собой несчастье

дли корабля и людей. Сейчас каждое движение должно быть предельно точным, каждая мысль мгновенно продуманной до конца. А времени думать было мало, мучительно мало. Современный морской бой дает на это не минуты и даже не секунды, а доли секунды.

Возбужденный голос артиллериста, который высунулся по пояс из люка башенки, оторвал командира соединения от размышлений.

— Товарищ капитан второго ранга, — частил артиллерист, — я определил противника в дальномер. Вспомогательный крейсер тысяч на шесть тонн и два «ягуара». Идут курсом шестьдесят пять, кильватерной колонной. Дистанция двести двадцать.

И, отбарабанив сообщение, артиллерист снова провалился в люк.

Маглидзе снял фуражку и пригладил потные волосы. Потом взглянул на ходовой компас. Стрелка картушки дрожала на 190. «Суровый» расходился с противником. Нужно было ворочать наперерез.

— Право руля! Курс 330! — приказал он штурману.

«Суровый» накренился. Всех на мостике мотнуло к правому борту.

— Противник открыл огонь! Вижу вспышки! — крикнул Рудняк.

Штурман высоко поднял узкие мальчишеские плечи.

— Обалдели, что ли, немчики? — процедил он брезгливо, улыбаясь толстогубым ртом. — Открыть огонь с такой дистанции.

Штурману было непонятно поведение врага. Четырехдюймовые пушки немецких эсминцев едва могли добросить снаряд на половину расстояния между врагами. Даже если предположить, что на немецком крейсере есть шестидюймовки, то и в этом случае они могли бить не дальше чем на сто тридцать кабельтовых. А дистанция была еще больше двухсот. Даже падений неприятельских снарядов не видно.

Но командир соединения видел дальше и глубже лейтенанта и уже разгадывал секрет этой бессмысленной стрельбы. Мысль его стала холодной, ясной и как бы раздвоенной. Он одновременно думал и за себя и за неизвестного человека, стоящего там, на чужом мостике, и тоже старающегося угадать мысли советского командира. И важно было опередить врага в отгадывании мыслей и намерений.

— Ясно! — сказал Маглидзе. — Все ясно. На пушку берут, сукины дети, гитлеровские фокусники. В игрушки играются.

— Не понимаю, товарищ капитан второго ранга, — покосился на него штурман, — чего им хочется? Что это за комедия?

— Комедия кончена, как говорят, штурман, — ласково сказал Маглидзе лейтенанту. — Из данных своей разведки они, очевидно, знают,

что мы идем ставить заграждение, ну и берут на испуг. Авось, мы сдрейфим и дадим драпу, чтобы не принимать бой с полным грузом мин на палубе. Вот и лупят с такого расстояния, чтоб вогнать нас в дрожь фейерверком. Понятно?

— Ну и ослы! — искренне восхитился штурман. — Вот это ослы! Чистой арийской работы!

Маглидзе продолжал наблюдать за неприятельскими кораблями. Бледносоломенные огни залпов вспыхивали над их уже заметными корпусами. Дистанция на встречных курсах сокращалась быстро, и теперь видны были фонтаны падений немецких снарядов, ложащихся с громадными недолетами.

— Товарищ вахтенный командир, — сказал Маглидзе, — отправить радио командующему воздушными силами базы. Пусть подошлет бомбардировщики. Веселей будет. Дайте точное место. — Вахтенный командир записал приказание в блокнот, вырвал листок, и рассыльный слетел по трапу вниз в радиорубку.

— Противник ворочает влево, — доложили наблюдатели.

— Ага, не выгорело. — Маглидзе усмехнулся, подняв брови. Лицо его оставалось по-прежнему непроницаемым. — Ага, — повторил он, — не вышли штучки. Мореплаватели высшей породы дерут нам хаузе... Что ж, погоняемся! Больше ход!

Ему стало весело. Чужой человек на чужом мостике промахнулся. Игру он начал неверным ходом и потерял качество. Теперь он спасает свою шкуру, этот незадачливый игрок. Он хотел озадачить его, Маглидзе, своим нахальством и не сумел. Теперь ему приходится удирать от расплаты.

Не дать ему уйти! Не позволить ему больше ставить ставки на смерть и разрушение! Уничтожить! Вот в чем была сейчас задача.

— Сигнал: «погоня»... Поднять «буки». Самый полный ход! — скомандовал Маглидзе.

По тому, как мгновенно набран был сигнал, как мелькали руки сигнальщиков, выбирая фалы, по блеску их глаз Маглидзе понял, что на «Суровом» все захвачены одним жадным и острым желанием — не выпустить врага.

«Суровый» задрожал от напряжения машин. Оба эсминца, наседая на уходящих немцев, неслись на зюйд-вест. Могуче и густо ревели форсунки, заглушая свист ветра, и над широким горлом трубы плясал и бился раскаленный воздух. Ветер стал тягучим и плотным, как резина. Он с силой влезал в ноздри, в рот, слезил глаза.

Расстояние сокращалось. В бинокли уже ясно видна была высокая корма теплохода, превращенного немцами во вспомогательный крейсер. Два эсминца, зарываясь носами в буруны, бежали за ним. Теперь их орудия мол-

чали. Они прекратили огонь после поворота. Их игра была разгадана на мостике «Сурового». Они поняли это и ждали сближения на дистанцию действительного огня, когда им придется защищаться в схватке на смерть.

Из башенки поста управления огнем опять показался артиллерист. Ветер сорвал с него фуражку, и она висела у него на затылке, поддерживаемая подбородным ремешком.

— Дистанция предельная, товарищ капитан второго ранга, — закричал он во всю силу легких, чтобы перекричать ветер и вой форсунок. — Разрешите открыть огонь?

Командир соединения посмотрел на веселое лицо артиллериста. Молодость!

Двадцать лет назад и сам он был таким, нетерпеливым и буйным. Сейчас годы и опыт лежат на плечах грузом ответственности. А, пожалуй, он немного завидует этой прекрасной и жадной молодости. Магнидзе поменял артиллериста кольцом, и тот быстро скатился по перекладинам трапа на мостик.

— Очень горячий! — сказал командир соединения, положив руку на плечо лейтенанта и любуясь юношеским задором. — Очень... Артиллерист, дорогой мой, должен быть не только хорошим артиллеристом. Он должен и рассуждать. Иногда можно не жалеть снарядов, когда массированный огонь может сразу решить судьбу боя. Иногда нужно и поберечь

снаряды. Они народу много стоят. Если можете гарантировать, что накроете с первого залпа, — разрешаю. Нет, — подождите. Они от нас не уйдут. Ясно?

— Ясно, товарищ капитан второго ранга, — артиллерист улыбнулся. — Разрешите доложить? С этой дистанции не ручаюсь, но с более близкой разрешите открыть огонь?

— Добро! — ответил командир соединения и тоже улыбнулся.

Немецкие эсминцы дымили во-всю, стремясь выжать предельный ход. Теперь они выдвинулись вперед и бежали по бокам крейсера, как две собаки, гуляющие с хозяином.

— Собаки! Псы души! — сказал вслух Маглидзе, и неожиданно ему вспомнились гневные, полные брезгливого презренья слова Маркса о рыцарях Тевтонского ордена. Прохвосты опять лезут к русской земле? Хорошо! Они будут выкупаны в русской воде.

Внезапно бинокль больно ударил его по надбровью. В лицо пахнуло жаром и мелкой пылью пороховой гари. Грохнул первый залп «Сурового». Не отнимая бинокля от глаз, Маглидзе потер пальцем ушибленное место и следил за падением снаряда. Как справится артиллерист? И в ответ на этот вопрос у корпуса немецкого эсминца, шедшего слева от крейсера, прыгнули вверх два белых столба, а в самом корпусе мигнуло темнокрасное пламя разрыва.

— Два накрытия, одно попадание! — услышал командир соединения согласный вскрик наблюдателей.

Он взглянул вниз, на полубак. Расчет носового орудия стоял на местах, ожидая ревуна для нового залпа. Лица краснофлотцев были осветлены особенным, необычным напряжением. И оно передалось командиру соединения. Он любовно смотрел на краснофлотцев. Как и командиры «Сурового», они тоже были его учениками и воспитанниками, учениками и воспитанниками оставленной за кормой большой и любимой земли, которая выстрадала свою счастливую долю. Вместе с ним они стояли на боевом посту, вместе с ним нетерпеливо ждали конца этой неутомимой, яростной погони за теми, кто осмелился стать поперек судьбе родины.

Заблеяли ревуны. Прозрачным огненным облаком полыхнуло орудийное дуло. Пушка рванулась назад, но, сдержанная компрессором, послушно вернулась на место.

Лязгнул затвор, и в ствол, шипя, ворвался сжатый воздух, выдувая нагар. Наводчик приник к козырьку прицела, вращая штурвальчик. Все тут, у пушки, было закономерно, рассчитано и деловито, как всякий труд.

Командир соединения снова взялся за бинокль, ловя в окуляр серую тень немецкого эсминца. И едва поймал, как ее застлало зыбкой пеленой пламени. Она перелетнулась с по-

са на корму, погасла, но сейчас же вновь вырвалась изнутри корпуса могучим веером, взметнув в небо кудлатую тучу распухающего рыжего дыма. Эта туча отползала назад, открывая пенящиеся водометы.

На мостике «Сурового» раскатилось «ура». Кричали наблюдатели, сигнальщики, старшины, командиры. Кричал, размахивая фуражкой, молчаливый, всегда сдержанный Голиков. И командир соединения даже удивился, поняв, что сам участвует в этом стихийном радостном хоре.

Он взглянул на часы. От первого залпа до гибели вражеского корабля протекло пятьдесят восемь секунд. Артиллерист правильно понимал темп морского боя, и командир соединения почувствовал гордость за своего ученика.

«Суровый» и «Смелый» перенесли огонь на второй немецкий эсминец. Он метался зигзагами, как заяц на травле, заливаемый всплесками от падений. Огни его залпов мигали с лихорадочной быстротой. Он запанно огрызался.

В лицо командиру соединения хлестнула упругая масса холодной, колющей кожу влаги. Она шумно разлилась по мостику, окатывая людей. Маглидзе попятился. Отряхнув брызги с кителя, увидел опадающую вдоль борта струю вспененной воды и привычно определил: «накрытие шестидюймовым у самого борта». Это пристреливался немецкий крейсер, защищая своего сторожевого пса. И мысль

командира соединения автоматически реагировали на этот вызов.

— Перенос огня на крейсер противника, — тихим от волнения голосом и, вынув платок, тщательно отер лицо от соленых капель, как от плевка.

* * *

Наблюдатели доложили о появлении самолетов за кормой.

На бледнозолотой от солнца восточной стороне неба прорезались чуть различимые черные черточки.

«Свои или нет?» — подумал Маглидзе.

Весь мостик неотрывно следил, как перемещались в небе эти крошечные черточки. От них зависело разрешение событий. Если самолеты окажутся вражескими — придется прекратить преследование и выпустить врага. Если свои — они могут помочь быстро закончить бой, который становился затяжным. Дальнобойные пушки крейсера заставили командира соединения оттянуться назад и держаться на предельной дистанции огня. Это расстраивало стрельбу. Снаряды эсминцев по-прежнему часто накрывали неприятеля, но попадания стали единичными. А увлекаться долгим преследованием не приходилось. Маглидзе ясно отгадывал мысли немецкого флагмана. Чем дальше он завлечет советские кораб-

ч, тем опаснее для него. [illegible], он отвлекает их от военно-морской базы — По[illegible]. Но теперь за[illegible] самой базе, а оттуда уже подали сигналы на помощь. Радио [illegible] кораблей бесчисленные просьбы о поддержке.

Но командир соединения не намеревался доставить врагу удовольствие быть пойманным на такую глупую приманку. Если через десять минут он не прикончит эсминцы, — чорт с ними, пусть уходят.

Самолеты приближались. Шли в боевом строю на большой высоте три звена.

Командир [illegible] дивизиона, размашисто шагавший по полубаку между своими пушечками, беспокойно повернул голову к мостику и взглянул на Маглидзе.

И тотчас же послышался бодрый возглас Рудняка:

— Самолеты свои!

На мостике облегченно вздохнули. Самолеты стремительно снижались. Они пронеслись над мачтами эсминцев, приветственно покачали крыльями с красными звездами и снова взмыли вверх, поблескивая на развороте серебряным сверканием фюзеляжей. Они заходили на боевой курс для бомбежки и, обогнав «Суровый», тучей повисли над вражескими кораблями. Капитан второго ранга Маглидзе увидел, как второй немецкий эсминец исчез в облаке

дыма и взметенной воды. На мостик «Сурового» донесло мощный удар воздушной волны.

«Суровый» полным ходом пронесся по водовороту, кружащему обломки. Среди них поплавками вертелись головы плавающих немцев. Они цеплялись за обломки, но беспощадная сила бушующей воды несла их под корпус «Сурового», и они отчаянно плескали руками по воде, стараясь отгрести в сторону. Командир соединения не изменил курса, чтобы обойти гибнущих. В конце концов они получали то, за чем пришли.

— В дым нос прячут вояки, — сказал командиру соединения Голиков.

С кормы бегущего немецкого крейсера сползала на море, ширясь и густея, плотная, как пена, занавеска белого, непроницаемого дыма. Она поднялась выше мачт и скрыла крейсер. В дыму ухали грузные взрывы. Самолеты неумолимо разыскивали крейсер в непроглядной пелене.

Маглидзе отвернул рукав кителя. Девять тридцать семь. Пора возвращаться! Окончание можно предоставить самолетам.

— Прекратить огонь! Отбой боевой тревоги! Боевая готовность номер два! Ворочать к точке постановки, — сказал командир соединения Голикову. И окаменелое лицо его разгладилось, помолодело. Жестокая игра в опережение чужих мыслей была выиграна.

Он представил себе томительное беспокойство и отчаяние этого чужого, угрюмо стоящего там, на мостике убегающего крейсера, в удушливом дыму завесы и взрывов, залитого водой, оглушенного, жалкого и растерянного, — и засмеялся торжествующе и зло. Командир «Суровото» удивился. Маглидзе смеялся редко.

Эсминцы описали полукруг и спокойно уходили назад. Высоко стоящее солнце заливало палубы блеском, и вода, взлетая у штевней, рассыпалась алмазной радугой.

Но командир соединения не замечал этого. С момента поворота мысль его направилась к оставленному «Стремительному». Прошло больше трех часов после аварии, постигшей эсминец. А еще предстояло ставить заграждение. Беспокойство боя кончилось, но возникало новое беспокойство за судьбу подорванного корабля. Оно жило и во время боя, это подспудное беспокойство, но сейчас оно становилось все острее. И командир соединения не сбавлял хода эсминцев. Он торопился. Было, конечно, большим риском оставить поврежденный корабль в таком положении. Многие на месте капитана второго ранга Маглидзе, может быть, прервали бы операцию и вернулись бы в базу, прикрывая отход раненого товарища. И у кого поднялся бы голос осудить за это? Можно, конечно, не рисковать. Но разве

вся морская служба не бесконечный риск? И разве без риска приходят удача и победы? Без риска нет ответственности, а [illegible] сти он, командир дивизиона, [illegible].

— Разрешите доложить, товарищ капитан второго ранга, — подошел штурман: — Пришли в точку. Позвольте прекращать постановку?

Командир дивизиона хотел ответить и вдруг сладко потянулся всем телом, как после долгой, утомительной, но приятной работы.

* * *

За полчаса до взрыва командир «Стремительного» Вася Калинин, горячий, молодой командир, прозванный за бурный темперамент «рысаком», имел короткий, но неприятный разговор со своим комиссаром. Причиной разговора был политрук Колосовский.

Отличный командир и дельный моряк, Калинин имел слабость полагать, что во всем мире нет корабля лучше, чем его «Стремительный». И соответственно этому требовал, чтобы на «Стремительном» все блестело от механизмов до людей, отличалось лихим морским шиком, не говорило бы, а прямо кричало о настоящей морской подтянутости и дисциплине. Комплименты своему кораблю Калинин принимал как нечто должное, как дань восхищения образцовой морской службой.

Поэтому Калинин не переносил отсутствия

в людях той степени выправки и почти балетной точности в движениях, которые сам он считал неотъемлемыми и природными качествами подлинного моряка. Малейшую неловкость, отсутствие той стремительной расторопности в работе, которую командир привил всему кадровому составу эсминца, Калинин воспринимал, как угрозу всем своим стараниям сделать «Стремительный» показательным кораблем, экспонатом военно-морской лихости. Это был слабый пунктик командира, над которым дружески посмеивались товарищи, считая, что тут у Калинина «заедает».

С начала войны и с появления на эсминце Колосовского сердце командира стал грызть червячок. Призванный из запаса хозяйственный работник, немолодой рябоватый человек, Колосовский, естественно, не мог сразу принять тот удалой вид, какого требовал Калинин от своих людей, и оскорблял романтическое представление командира о военном моряке. Вдобавок Колосовский заикался, а это, по мнению командира, было уже совсем нетерпимо на военном корабле, да еще таком, как «Стремительный».

И то, что Колосовский был трудолюбив и исполнителен, что он завоевал авторитет у краснофлотцев, не примиряло с ним командира, бурная натура которого мешала объективному и спокойному отношению к подчиненному.

И утром, после выхода с рейда, Калинин

неожиданно и несправедливо нашумел на политрука.

С высоты мостика он заметил на палубе Колосовского, разговаривающего с краснофлотцами. Вторая пуговица кителя политрука была не застегнута, и Калинин обратился к нему тем сухим, жестяным тоном, который появлялся у него в приступах командирского гнева:

— Товарищ старший политрук, вы, кажется, изволили устроить у себя за пазухой колыбельку для ветра? Застегнитесь!

Колосовский посмотрел на командира добродушными серыми глазами, покраснел и покорно застегнулся.

Калинин раздраженно отошел к штурманскому столику. Секунду спустя к нему подошел комиссар — прикурить папироску. Но, взглянув на комиссара, Калинин понял, что папироска только повод для разговора. И действительно, понизив голос, комиссар сказал командиру с дружеской укоризной:

— Опять беленишься? Пороховой у тебя характер.

Командир и сам уже понимал, что его подвел неукротимый характер, но слова комиссара только раздразнили командирское самолюбие, и он перенес свою злость на товарища.

— Тогда я попрошу вас, товарищ батальонный комиссар, заняться морским воспитанием товарища Колосовского. Я не классная дама!

Комиссар удивился командирскому возбуждению и вызывающему тону. Они служили на «Стремительном» вместе три года, знали друг друга еще до этого, жили дружно, никогда не ссорились. И комиссар решил отшутиться.

— Чистый рысак ты, Вася! Как вожжа под хвост попадет — скачешь без удержу.

Калинин повернулся к комиссару и, неожиданно взяв под козырек, ответил, побледнев:

— Разрешите напомнить, товарищ батальонный комиссар, что мы находимся в боевом походе. Шутки неуместны.

Комиссар изумленно взглянул на друга и в свою очередь озлился:

— Отлично, товарищ капитан-лейтенант. Но полагаю, что ваш тон тоже неуместен.

Они разошлись в разные стороны мостика. Но, как всякий вспыльчивый человек, Калинин отходил быстро. Он подумал, что совершенно напрасно погрызся с товарищем из-за пустяков, что нужно держать в узде свой характер, и в момент поворота решительно шагнул к комиссару, чтобы восстановить отношения и извиниться за нелепую вспышку.

Но не успел он сделать и двух шагов, как что-то с невероятной силой схватило его за грудь и подняло на воздух.

Когда, оглушенный взрывом и сброшенный с мостика, он очнулся на палубе, втиснутый

между вентилятором и кожухом трубы, он не сразу понял, что происходит вокруг.

На мокрой палубе, в горячей сырости пара, в дыму метались люди.

Кто-то, скрытый паром, кричал рядом с ним:

— Корабль тонет!

Кто-то командовал и распоряжался за него, капитан-лейтенанта Калинина, хозяина «Стремительного». Это был непорядок. Этого нельзя было допустить. Он повернулся набок, и первое, что почувствовал, — была чугунная тяжесть в левой руке. Он попробовал пошевелить пальцами, но пальцы остались мертвыми. Он не ощущал их. Он попытался взглянуть на руку, и тоже не удалось. Мешала какая-то заслонка перед глазами. Он поднес к лицу здоровую руку, чтобы отодвинуть эту заслонку, и застонал. Пальцы сразу взмокли, и он с трудом понял, что перед глазами не заслонка, а свисшая со лба лоскутом его собственная кожа.

— Корабль тонет! Спасайся!

Какой болван орет эту чушь? Разве может утонуть его «Стремительный»? Калинин решительно вскочил на ноги. На кожухе валялась чья-то бескозырка. Командир эсминца схватил ее и, прижав ко лбу лоскут кожи, не обращая внимания на боль, нахлобучил бескозырку. Теперь он мог видеть, хотя ресницы слипались от крови.

Сквозь пар он заметил краснофлотца на тор-

перед аппарате. Он стоял с выпученными, бессмысленными глазами и дрожащими губами выкрикивал:

— Тонем! Тонем!

— Что вы мелете? Долой с аппарата! — закричал Калинин.

Краснофлотец уставился на него пустым, одуревшим взглядом. И вдруг этот взгляд прояснел обыкновенной человеческой тревогой при виде залитого кровью лица командира. Краснофлотец ахнул:

— Товарищ командир корабля! Вы...

— На место! — скомандовал Калинин. — Стоять по местам!

И сам тоже кинулся на свое командирское место, на мосток, карабкаясь по искаженному трапу.

— Куда лезете? Назад! — крикнул ему кто-то, когда неузнаваемая голова, покрытая бескозыркой, показалась из люка.

— Я командир эсминца... Кто здесь распоряжается? — рявкнул Калинин, выбираясь на мостик, усеянный обломками.

Тот, кто кричал на него, — Калинин узнал в нем командира БЧ-III лейтенанта Воробьева, — вгляделся и взял под козырек.

— Виноват, товарищ капитан-лейтенант. Согласно боевому расписанию я вступил в исполнение обязанностей командира эсминца. Комиссар пропал без вести. Помощник убит.

Артиллерист и штурман тяжело ранены,—отрапортовал Воробьев и нерешительно добавил:— Вы тоже ранены, товарищ капитан-лейтенант.

Командир невольно поглядел на левое крыло мостика, где за секунду до взрыва стоял комиссар. Левого крыла не было, не было и комиссара. Калинин зажмурился.

— Отправляйтесь к своим обязанностям, — сказал он Воробьеву, — командую я.

— Но вам нужно к врачу... Санитаров! — вдруг закричал на весь мостик Воробьев. — Санитаров к командиру!

— Отправляйтесь на место! — повторил Калинин, стиснув зубы, и огляделся.

Мостик был в пятнах крови. У штурманской будки, скорчась, лежал помощник. Вахтенный командир, бледный, в висящем лохмотьями кителе, распутывал обрывки сигнальных фалов, которые окрутили его, как неводом.

Но среди обломков и крови стояли на своих местах сигнальщики и наблюдатели, и только во взглядах их, устремленных на командира Калинин подметил недоумение и ожидание. Он понял, что люди смотрят на него, раненого командира, и ждут, что он примет то единственное решение, от которого зависит жизнь корабля и их жизнь.

— Все благополучно, товарищи, — сказал он, пытаясь улыбнуться. — Не ослаблять наблюдения.

В эту минуту с «Сурового» последовал запрос флагмана о последствиях взрыва, и Калинин приказал передать, что эсминец держится на плаву и повреждения выясняются. Он был уверен, что его «Стремительный» не может погибнуть.

Пока передавали семафор, Калинин подошел к помощнику и наклонился над ним. Окликнул. Ответа не было. Калинин попытался приподнять голову помощника. Она завалилась и деревянно стукнулась о палубу. Командир эсминца выпрямился.

«Прощай, помощник! Много вместе поплавано. Встретишь ли такого другого? И моряка и друга?»

Но грустить было некогда. Нужно было прежде всего восстановить порядок на мостике.

— Что вы смотрите, товарищи? Прибрать мостик!

Люди кинулись исполнять приказание командира. Зазвенел телефон.

— Командир эсминца слушает, — сказал Калинин, подняв трубку и чувствуя, как все в нем мутнеет от нарастающей боли.

— Говорит командир БЧ-V. Разрешите доложить положение, товарищ капитан-лейтенант. Работа аварийной группы идет успешно. Течь ликвидировали. Ставим упоры на переборку. Думаю...

— Понятно, — перебил Калинин. — Продолжайте работу. Сейчас спущусь вниз.

Он положил трубку. Вахтенный командир, наконец, выпутался из фалов. Калинин мутно посмотрел на его изорванный китель. Это тоже был непорядок. Что бы ни случилось — моряк должен быть на мостике в исправном виде.

— Пойдите, переодень... — командир эсминца не кончил фразы, шатнулся и повалился на руки вахтенного.

Он очнулся в кают-компании, когда врач, наложив лубки на левую, сломанную руку, кончал бинтовать голову со сшитой стежками кожей лба. Как только врач завязал кончики бинта, Калинин сделал нетерпеливое движение, пытаясь встать.

— Нельзя, Василь Васильич, — сердито сказал врач, — вам нужно лежать.

— Уложите вашу бабушку, — угрюмо и зло огрызнулся Калинин и спустил ноги с обеденного стола, на котором подвергся перевязке.

Пока в командире эсминца есть хоть капля жизни — он должен оставаться командиром эсминца и лежать ему неприятно. Шатаясь, Калинин побрел к выходу на верхнюю палубу. От воздуха ему стало легче. Он прислонился к надстройке и стал дышать глубоко и ровно, как на зарядке. Стало почти хорошо.

Он поднял голову к мостику и окликнул:

— Вахтенный командир!

Голова вахтенного командира показалась над изорванным обвесом.

— Остаться за меня на мостике, — сказал Калинин. — Я иду вниз.

Когда он, непривычно медленно и осторожно, сползал по отвесному трапу в первую кочегарку, где работала аварийная группа, его поразили взрывы смеха, несшиеся снизу.

— Что там смешного? — подумал он с недоумением.

Заметив командира эсминца, командир БЧ-V подошел с рапортом.

— Товарищ капитан-лейтенант, работы заканчиваем. Все в порядке. Живучесть корабля обеспечена.

— Что это у вас за смех?— спросил капитан-лейтенант.

— Разрешите доложить... Старший политрук Колосовский сумел высоко поднять моральное состояние людей. Благодаря ему повреждения исправлены быстрее, чем можно было ожидать.

Командир эсминца, поморщась от боли, направился к переборке, откуда продолжали нестись раскаты смеха. И среди смеющихся краснофлотцев увидал Колосовского и не узнал политрука. Колосовский, без кителя, с засученными рукавами, управлял работой, как дирижер оркестром, переходя от одной группы к другой, ужом пролезая между механизмами,

подбадривая людей, безостановочно бросая шуточки. Он даже перестал заикаться.

Калинин изумленно смотрел на простое, рябоватое лицо политрука. Сейчас оно стало неузнаваемо. Оно дышало оживлением, энергией, неисчерпаемой духовной силой русского человека, которая так подымает самых обычных и незаметных людей в грозные часы. И лица краснофлотцев тоже цвели жизнерадостной уверенностью. Это было удивительно и приятно.

— В первую минуту, товарищ капитан-лейтенант, — шопотом сказал из-за плеча командир БЧ-V,—среди команды возникла некоторая растерянность, но товарищ Колосовский сумел быстро успокоить людей, внушить бодрость...

Командир эсминца еще раз оглядел Колосовского с ног до головы, как будто впервые увидев этого человека по-настоящему, и вдруг с неожиданной теплотой сказал, протягивая ему руку:

— Объявляю вам, товарищ старший политрук, благодарность за отличное руководство. Будете представлены к награде.

Колосовский, опешив от похвалы командира эсминца, поднял руку к козырьку, забыв, что на нем нет фуражки. Но теперь даже это не только не рассердило, а, наоборот, растрогало Калинина. Он опустил эту руку и крепко сжал ее.

— Отлично работали!

Колосовский хотел ответить командиру, и вдруг от волнения его зашло.

— С-с-с, — зашипел он в тщетном желании выговорить начатое слово.

Калинин засмеялся и здоровой рукой потрепал Колосовского по плечу.

— Не трудись, политрук, пар вытравишь! Служишь Советскому Союзу? Понятно!

Краснофлотцы прыснули. Засмеялся и сам Колосовский. И командир эсминца почувствовал, что его люди вместе с ним составляют тесную, крепкую боевую семью.

— Спасибо, товарищи краснофлотцы! — голос капитан-лейтенанта дрогнул.—Спасибо за службу! «Стремительный» не пропадет с такими людьми. Счастлив, что командую вами.

Когда он вернулся на мостик, там все было убрано. Море расстилалось вокруг — большое, теплое, голубое, мерцая солнечной рябью. Оно было пусто. «Суровый» и «Смелый» давно скрылись за горизонтом. Оставалось выполнить приказ командира соединения и терпеливо ожидать возвращения отряда. Командиру «Стремительного» стало очень тоскливо. Он сел на выступ тумбы ходового компаса, закрыл глаза и тихонько засвистел «Варяга».

* * *

Во время боя краснофлотец первого года службы Алексеев стоял подающим у третьего

орудия на корме «Сурового». Прошлой осенью Алексеев пришел на флот из тамбовского колхоза и, когда садился на пароход в Оранienбауме с партией молодых моряков, отправляемых из экипажа в Кронштадт, смотрел на бушующую осенними ветрами воду взморья с недоверием и робостью.

По блеклой свинцовой шири мчались желтые гребни волн. Пароход, нырявший между этими гребнями, показался Алексееву ненадежным, а от скачки волн рябило в глазах и из-под ложечки подымалась к горлу противная и расслабляющая муть.

Но это осталось позади. Теперь Алексеев не испытывал больше робости перед морем. В конце концов, оно было очень похоже на бескрайное колхозное поле в дни созревания хлебов. Оно тоже все время колыхалось, как зреющая пшеница. Только оно было из воды и непрестанно меняло цвет. Алексеев полюбил эту сказочную смену красок.

И в этот поход он любовался морем. Из темно-серильного, каким оно было ночью, оно постепенно превращалось в пепельно-серое, зеленовато-опаловое, розовое и, наконец, стало густо изумрудным у самого борта корабля, все больше бледнея к горизонту и сливаясь там с сиреневой дымкой.

С первого залпа Алексеев забыл о море. Он

[illegible] одну и ту же несложную работу: [illegible] с [illegible] длинную остроносую [illegible] и [illegible], ловко опуская ее в узкую [illegible] автоматическо[illegible] [illegible] уже был [illegible] Алек[illegible] [illegible] открыв отвер[illegible]стие камеры. Первые дни службы при орудии Алексеева [illegible] не [illegible] работу, [illegible] свои [illegible] своей жизнью и [illegible]. Он стал уважать замочник как бессменного и безотказного друга и [illegible], который не подведет и не выдаст. Этот умный прибор, [illegible], может быть, [illegible] такого же двадцатилетнего комсомольца в грохочущем корпусе заводского цеха. И Алексеев иногда завидовал неизвестному сверстнику, создателю замочника, и думал, что хорошо бы после службы пойти на завод и тоже делать такие замечательные вещи.

Занятый своим делом, Алексеев не замечал происходящего за пределами его пушки и не думал об опасности. Ему и некогда было о ней думать. Залп следовал за залпом и на размышление не оставалось времени.

Он знал только, что [illegible] с [illegible] в [illegible], [illegible] должны [illegible] и уничтожить [illegible], [illegible] ва

различимы в морской дымке. Эти корабли лезли к берегам родины, охрану которых страна доверила Алексееву и его товарищам. Каждый из них исполнял свой долг присяги у этой пушки, мигая и морщась от сухих, сотрясающих все тело ударов залпов, раскрывая рты в момент выстрела, испытывая боль в ушах, куда вбивало, как молотом, раздирающий трохот.

И Алексеев очень удивился, когда в промежутке между залпами, еще до мычания ревуна, по палубе у казенной части орудия с ревом разлилось мгновенное темное пламя. Когда оно сникло, Алексеев увидел вспученную пузырями и почерневшую краску на щитовой броне, вмятины и рваные дыры в листах палубы, распластанное ничком тело комендора Люлько со страшно раскинутыми руками.

Алексеев протер запорошенные глаза и нагнулся за очередным снарядом. Но, к своему удивлению, поднять его не смог. Онемелая левая нога подвернулась, и он неловко сел на палубу. Оробев, он посмотрел на непослушную ногу. Брезент брюк был разорван у колена, и по палубе под коленом расплывалось блестящее по краю пятно крови.

— О-ой! — закричал Алексеев тоненьким бабьим воплем.

Над ним наклонился командир орудия старшина Форафонов.

— Чего кричишь? — сказал он Алексееву.— Зацепило? На то и бой! Порядка не знаешь? Доставай пакет, перевязывай.

Форафонов ухватился за надорванную осколком штанину Алексеева и с натугой разорвал ее по шву до бедра. Алексеев увидел свое развороченное мясо над коленом и испугался. Та же расслабляющая муть, какую он испытал, впервые попав на пароход, заколыхала его. Форафонов вырвал у него индивидуальный пакет. Ремешком от своих брюк он туго перетянул ногу Алексеева, наложил подушечку и стал бинтовать. Алексеев сидел, сжав губы, стараясь удержать неприятное цоканье зубов.

— Готово! — Форафонов шлепнул ладошкой по спине Алексеева. — Ползи, салажонок, в лазарет, кланяйся доктору.

Алексеев не смог улыбнуться на шутку. Он пополз по палубе до леера, поднялся и, чуть не плача от боли в коленке, повис на леере и стал продвигаться, подпрыгивая на целой ноге. Оглядываясь на свою пушку, увидел, что расчет ее пополнен из подвахтенной смены. На его месте стоял рыжий Сережка Иванов. По прогнутой стали щита гремели кувалды, освобождая откат пушки.

Алексееву стало досадно, что он покинул свое место. Придерживаясь за леер, он смотрел на работающих товарищей, но новая вспышка темного пламени оторвала его от ле-

ера и хватила затылком о шлюпбалку вельбота. Присев на корточки, он увидел сквозь вонючий дым наполовину отбитый ствол пушки и разметанный по палубе расчет. И он почувствовал рану пушки, как свою собственную рану. Ярость залила ему глаза. Он всхлипнул и потряс кулаком в море, туда, где были враги. Он хотел даже выругать их последними словами, но вспомнил комсомольское обязательство не ругаться и только прошептал эти слова для себя.

И сейчас же услышал рядом грозный крик:

— Мина горит!

Алексеев повернулся. У одной из мин, приготовленных к постановке, осколками разворотило корпус. Разбросанный желтыми комьями по палубе тротил горел, сильно коптя. Языки огня лизали корпус мины, и из нее уже шел дымок. Алексеев вспомнил занятия по минному делу. Горящий на воздухе тротил безопасен. Но в разбитой мине были запальные стаканы с гремучей ртутью и тетрилом. Раскалясь, они взорвутся, и тогда рванет тротил, захватывая и соседние мины.

Кто-то с обожженным лицом, в изорванном рабочем платье, проскочив мимо Алексеева, метнулся к горящей мине и уперся в нее черными, ободранными в кровь руками, стараясь подтолкнуть к борту. Но тяжелая мина только покачнулась. Один человек не мог совла-

дать с ней. А поблизости никого не было. Лежали мертвецы, и корчились раненые. Тогда, забыв о ране, Алексеев вскочил на ноги и, не хромая, побежал на помощь одинокому товарищу. В этом опаленном человеке он не узнал всегда щеголеватого Форафонова.

— Навались! — крикнул Форафонов, тоже не узнавая сосед. — Напри! Разом! Еще разик! Ухнем!

Мина толчками подавалась к борту. Последним усилием краснофлотцы перевалили ее через ватервейс, и она, высоко плеснув брызгами, исчезла в глубине.

И тут же Алексеев с воплем схватился за ногу и лег на палубу, впившись зубами в ладонь от нестерпимого ожога боли.

Форафонов провел рукой по закопченному лицу, нагнулся, подхватил Алексеева и, перекинув его через плечо, пошел на перевязочный пост.

* * *

Штурман захлопнул крышку ящика с хронометром и поднес руку к фуражке.

— Постановка окончена, товарищ капитан второго ранга. Одна мина на нашей палубе была разбита осколком и загорелась. Старшина Форафонов и раненый краснофлотец Алексеев успели столкнуть ее за борт, предупредив катастрофу.

Капитан второго ранга Маглидзе наклонил голову

«Хорошие ребята, золотые ребята,—подумал он, смотря на штурмана.—Вот они, наши дети. С ними жить, драться и побеждать радостно. И умирать не страшно!»

— Добро! — коротко сказал он штурману и обернулся к командиру «Сурового».—Ложиться курсом на место «Стремительного». Итти полным ходом. Поторопимся!

Эсминцы повернули домой. Целый час командир соединения не сводил глаз с востока, где был оставлен «Стремительный». И, когда наблюдатели открыли эсминец, Маглидзе впервые за двое суток ощутил голод.

— Притащите мне пару бутербродов и чаю покрепче,—сказал он вестовому и стал набивать трубку.

«Суровый» вплотную прошел мимо «Стремительного». На палубе поврежденного корабля стояла выстроенная по бортам команда, на мостике белела перевязанная голова командира. Боевой флаг «Стремительного» развевался на гафеле, приветствуя флагмана, и на «Суровом» услышали медленный медный ритм гимна.

Командир соединения опустил руку от козырька.

— Передать на «Стремительный»: «Приготовьтесь принять швартовы».

Флажки семафора начали свою сложную

пляску в воздухе. Со «Стремительного» отмахали ответ: «Ясно вижу». Потом флажки на его мостике взлетали долго, передавая длинную фразу.

«Прошу разрешить самостоятельно следовать на базу,—читал командир соединения.— Повреждения исправил, могу держать десять узлов без риска для корабля».

— Ну и жук! — одобрительно крякнул Маглидзе.—Подымите ему: «Флагман изъявляет удовольствие». А я пойду к раненым.

* * *

Алексеев лежал на лазаретной койке. После укола морфия и вторичной перевязки, наложенной врачом, нога уже не болела, а лишь тихонько ныла. Он лежал, подложив руки под затылок, и думал, как напишет письмо Танюше Будкиной, трактористке второго стана, как расскажет про свой первый бой и рану и как Танюша станет читать его письмо всем друзьям.

Чья-то тень заслонила от него солнечный луч из иллюминатора. Алексеев нехотя повернул голову и на уровне койки увидел лицо командира соединения. Он дернулся, пытаясь привстать, но крепкая рука опустила его на подушку.

— Лежите, товарищ Алексеев, отдыхайте! Как чувствуете себя? Очень больно?

— Теперь ничего, товарищ капитан второго ранга, — ответил Алексеев. — самую чуточ-

ку. Вот когда мину спихнул, тогда в коленку так ударило, аж море заплясало.

— Как же вы так с разбитой ногой полезли мину сбрасывать? — спросил Маглидзе.

Алексееву почудилось, что начальник упрекает его. В глаза ему набежали слезы, и он виновато сказал:

— Так, товарищ же капитан второго ранга, ведь коли б она рванула — всем крышка была б... Я и про ногу забыл, как увидел, что она, проклятая, горит, а товарищ старшина Форафонов в одиночку с ней мучается... Извините, коли неправильно поступил...

Он замолчал и нервно затеребил пальцами воротник рубашки. Командир соединения взглянул на стоящего рядом врача, торопливо отвел взгляд и быстро вышел.

* * *

Вечером командир «Стремительного» сидел в салоне командира соединения и докладывал соображения по ремонту эсминца.

Ему было не по себе. Он ослабел от ран. Болела рука, разламывало голову. Но он старался держаться бодро. Он ждал, что после окончания доклада командир соединения разнесет его за неудачный поворот и аварию корабля. Может быть, даже отдаст под суд. И, оттягивая эту минуту, Калинин был чрезмерно

многословен. Но пришлось все же закончить. И он замолчал, опустив глаза.

— Ну, что же, одобряю, — услыхал он голос Маглидзе — и благодарю за энергичные действия по обеспечению живучести корабля.

Калинин горько вздохнул.

— Эх! — произнес он печально. — Разве об этом я думал, товарищ капитан второго ранга, когда выходил в поход. Я мечтал о подвиге, а получилось черт знает что. Хоть бы выругали вы меня!

Командир соединения молчал. В салоне было слышно только посапывание раскуриваемой трубки. Воздух заволокло сладковатым голубым дымом. И Маглидзе задумчиво сказал:

— Подвиг!.. А что такое подвиг? Очень интересно! Никто не понимает. Краснофлотец Алексеев извинялся передо мной за то, что совершил подвиг... Командир эсминца Калинин считает естественным оставаться командовать кораблем, когда ему самому нужна хорошая починка в госпитале... А мы разводим теоретические разговоры о подвиге... Философы!

Калинин искоса посмотрел на командира соединения, и в глазах его мелькнула лукавая искра. Он поднялся.

— Разрешите сказать, товарищ капитан второго ранга. Я тоже знаю одного командира соединения, который не замечает, что принял на себя огромную ответственность продолжать

и довести до конца операцию в тех условиях, которые были созданы ошибкой подчиненного... Вот что такое подвиг!

— Хватил! — насмешливо проворчал Магалидзе. — Бредишь, наверно, от ран, капитан-лейтенант?.. Езжай-ка, выспись. Время позднее!

Содержание

	Стр.
Встреча	3
Полосатая смерть	11
Товарищ Вихров	22
Железный крест	35
Парусный летчик	44
Последний заплыв	57
Эволюция философии	71
Подвиг	91

Редактор *Григ. Сорокин*

Подписано к печати 21/XI 1942. ГМ31968.
Печ. л. 4 1/4. Печ. зн. в 1 п. л. 42 320. Уч.-авт. л. 4,07.
Заказ № 3252.
Набрано в типографии ВПШ. Москва, Малая Дмитровка, 6.

Отпечатано в тип. Профиздата. Москва, Крутицкий вал, 18. Зак. 87.

Отзывы об этой книге и предложения по изданию серии «Фронтовая библиотека краснофлотца», а также дневники, записи боевых эпизодов, очерки, рассказы, стихи и песни Военно-Морское Издательство просит присылать по адресу: Москва, 22, Малая Грузинская, д. 6, *Воениориздат*.

1 р. 50 к.

2014080352